

ВИКТОР ПЕЛЕВИН



**ЛЮБОВЬ
К ТРЕМ ЦУКЕРБРИНАМ**

«Любовь к трем цукербринам» заставляет вспомнить лучшие образцы творчества Виктора Пелевина. Этой книгой он снова бьет по самым чувствительным, болезненным точкам представителя эры потребления. Каждый год, оставаясь в тени, придерживаясь затворнического образа жизни, автор, будто из бункера, оглушает читателей новой неожиданной трактовкой бытия, в которой сплетается древний миф и уловки креативщиков, реальность и виртуальность. Что есть Человек? Часть целевой аудитории или личность? Что есть мир? Рекламный ролик в планшете или великое живое чудо? Что есть мысль? Пинг-понговый мячик, которым играют маркетологи или проявление свободной воли? Каков он, герой Generation П, в наши дни? Где он? Вы ждете ответы на эти вопросы? Вы их получите.

Пелевин Виктор Олегович
Любовь к трем цукербринам

The universe is made of stories, not atoms.
Muriel Rukeyser

ОБЪЯСНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ

Эта странная книга содержит три повести (одна непропорционально длинная) — и объяснительный текст, соединяющий их в целое. Связующий материал (я назвал его «Киклоп») можно рассматривать в качестве дополнительного рассказа, полностью документального — хотя я признаю, что в таком качестве он никуда не годится: в нем есть длинное и подробное вступление, есть заключение, но почти отсутствует повествовательная часть, вместо которой читателя ждет несколько страниц моих шатких рассуждений, отдающих науцпопом.

Я хочу попросить прощения за эти недостатки — но книга и не могла получиться иной. Говорить о работе Киклопа подробно я не стал по причинам, которые будут вполне ясны. С другой стороны, совсем не упомянуть о Киклопе я не мог тоже — иначе три моих повести потеряли бы всякую связь друг с другом: было бы непонятно, что у и их общего, кем они написаны и откуда вообще взялись.

Поэтому прошу иметь в виду: моя цель — рассказать не столько о Киклопе, сколько о том, что Киклоп увидел и понял на своем посту. Ибо многое из этого кажется мне заслуживающим внимания.

В своей книге я иногда пользуюсь научной терминологией. Хочу подчеркнуть, что я не физик и вообще не имею никаких технических познаний. Я просто пытаюсь объяснить наблюдаемую реальность в терминах, которые у всех на слуху, чтобы не придумывать слишком много неологизмов. Физик, возможно, найдет в моем рассказе нестыковки и противоречия. В таком случае предлагаю ему придумать объяснение лучше моего — и сохранить его себе на память.

Физическая сторона вопроса на самом деле не особо для меня важна. Но она довольно интересна. Во времена Галилея и Коперника полагалось во вступлении делать реверанс в сторону церковной догмы и соотносить с ней все гипотезы и предположения, а сегодня мы должны точно так же кланяться догме научной.

И если я говорю иногда про «мультиверс» и «многомерность», я делаю это примерно с теми же чувствами, с которыми Галилео мог бы упоминать в своей книге пророка Исайю и Ангелов Божьих: с робкой верой, что Святое Писание понято мной, грешным колдуном, хоть отчасти правильно.

В книге почти нет связи с актуальной действительностью. Думаю, что в наше время это скорее достоинство, чем наоборот.

Засим почтительно возлагаю к стопам Читателя и Читательницы свой скромный труд.

В начале следует описать ту точку, где сходятся все эти истории — или, может быть, откуда они расходятся.

Наверно, скорее расходятся — потому что только с учетом этого центрального события делаются понятными все изгибы прослеженных мною судеб.

Это было похоже на вспышку магния, которая запечатлела героев в случайных позах — и послала в будущее их фотографические отпечатки. Яговорю «магния», поскольку огонь и дым были настоящими. Айфон такой вспышки не даст даже по команде из АНБ. Хотя, конечно, как знать — я где-то читал, что американские смартфоны могут не только подслушивать, подсматривать и поднюхивать, но и детонировать по сигналу из центра, пробивая ушную раковину и мозг направленным взрывом аккумулятора. Наверно, конспирологический юмор.

Но по порядку.

Язнал, что не останусь Киклопом вечно.

Это опасная нервная работа, которую выполняют обычно не больше года или двух. Потом Птицы нащупывают в ткани нашего мира метающий им узел с достаточной точностью, чтобы удалить его — если надо, вместе с самой тканью. Они больше не используют в качестве оружия случайно оказавшихся рядом людей.

Так они ведут себя, когда действуют вслепую, и Киклоп случайно появляется в поле их внимания на несколько секунд. Если они твердо знают, где искать своего врага, они поступают иначе.

Как, я сейчас расскажу.

Точно подо мною располагалось рабочее место Кеша — молодого человека, различным состояниям и формам которого будет посвящена значительная часть этой книги. Можно сказать, что в то время он был самым близким мне существом — во всяком случае, в пространственном смысле.

Иногда я позволял себе нескромное, наверно, развлечение — настраивался на его ум и начинал наблюдать за происходящим в окружающем пространстве через его глаза — и даже сквозь призму его сознания. Явоспринимал не только то, что он видел, но и голоса, раздававшиеся в его уме (не буду называть их мыслями — поскольку половины из них он не слышал сам, а другой половине подчинялся без размышления).

Иногда это бывало интересно, иногда — не очень. Если он, например, включал своих японских школьниц (такое случалось, когда в офисе оставалось мало народу и Кеша был уверен, что никто не подойдет к нему со спины), его внутреннее пространство заполнялось грубоватым комментарием, похожим на футбольный. Кеша, заслуженный работник bondage/bukkake на пенсии, как бы разъяснял происходящее несмышленным профанам, которые смотрели порнушку вместе с ним. Таким профаном в эти минуты был один я — но Кеша в своем воображении транслировал сигнал на куда большую аудиторию. Все-таки поразительно, до какой степени человек общественное существо.

Когда людей в офисе собиралось слишком много, чтобы можно было смотреть порно или играть с компьютером в игры, Кеша начинал I роллить зазевавшихся граждан в интернете — словно ас Второй мировой, вылетевший на свободную охоту. Картинка на экране делалась на это время совершенно пристойной и функциональной: любой медийный работник сегодня полдня ныряет по блогосфере.

Иногда Кеша отвлекался от компьютера, глядел на своих соратников по офису — и выносил им приговор судьбы.

Наименее жесток он был к девушке Наде, занимавшейся буфетом и озеленением пространства — «если пострижется нормально и перестанет бояться людей, то найдет себе какого-нибудь азербота». Других он судил строже. Главного редактора сайта «Contra.ru» (так называлось место, где он работал) он окрестил про себя «шабесгеем» (что не мешало Кеше ежедневно перед ним заискивать — но жизнь, как известно, есть клоунада). При этом Кеша искренне считал, что влечение к виртуальным японским школьницам является нормой, а главный редактор — перверт.

Соответственно, информационный продукт родного сайта Кеша называл про себя словом «шабесгон» (даже бормотал во время дедлайнов мечтательную мантру-стишок «мой шабесгон, мой шабесгон — как много дум наводит он»). Коллег по работе он делил на «вонючек» и «усталых» (первые с годами превращались в последних, отводя свое — примерно как выгорающие звезды).

Ну и так далее. Кеша на самом деле не был ни гомофобом, ни антисемитом, ни снобом. Просто ассемблер чужой души при близком рассмотрении редко выглядит привлекательно. Но мы еще вернемся к Кеше — сейчас я рассказываю об этом, чтобы было понятно, чем я занимался внутри его головы в тот день, когда произошло роковое событие. Я отдыхал в ней, как в персональном кинозале — в этот день крутили довольно интересное кино.

В редакцию «Контры» пришел входящий в моду поэт Гугин, бочкообразный лысый мужчина с треугольной рыжей бородой («бегемот апокалипсиса», как он сам себя называл — но темно-багровый цвет его лица наводил скорее на мысль об апоплексии). С ним делали большое интервью.

Было две телекамеры и три прогрессивных журналиста, пришедших для съемок круглого стола — их рассадили полукругом перед большим белым щитом с надписями «Contra.ru», и Гугин, стоя в фокусе этого живого прожектора, читал стихи («стиши», как он говорил) из своего нового проекта «Голем Илелеем».

Это была амбициозная попытка отразить в стихах все наиболее яркие события недавнего прошлого: составить, как изящно выразилась одна из трех журналистов, «Гугл Мэи Эпохи». Когда Гугин утомлялся, начинал говорить кто-нибудь из журналистов, и камеры поворачивались на него. Потом неиссякаемый Гугин снова начинал декламировать.

Отрывок, который он читал перед вспышкой, назывался «Героям — Пазолини!» и был посвящен, как легко догадаться, известным событиям в Киеве, уже успевшим к этому времени несколько потускнеть в народной памяти:

Под хладным ветром, полным праха,
согнулся мерзлый тартарас,
И беркут наш встал черепахой
В последний раз, в последний раз...

Отчетливо помню эту секунду — и мгновенный срез всех создававших ее умов.

Гугин, читая, соображает, не обидится ли редактор на «тартараса», приняв его за замаскированного «пидараса» — и быстро отмечает во внутреннем блокноте, что надо конкретизировать это как обличительную сатиру на хаос в сознании боевика, увлекаемого в тартары духа Тарасом на щите. Стиш, короче, надо доводить.

Первый журналист, кисло оскаленный блондин с волосами до плеч, размышляет о том, можно ли классифицировать Гугина как полноценного либерала — и сомневается: не все маркеры в стихах расставлены нужным образом, и кажется, что это сделано вполне сознательно. Хотите войны? Таки война вам будет!

Второй журналист, одутловатый одуванчик, уже наполовину выбритый ветром перемен, думает длинную и сложную мысль: Гугина можно назвать одним из множества современных

куплетистов, занимающихся культуррейдерством. Он, в сущности, читает не свои стихи, а чужие, с перебитыми номерами, перекрашенные в нужный цвет — которые он просто перепродает через юридический механизм пародии. Какая-то дура, польстившись, видимо, на слово «голем», назвала новый проект Гугина «русской либеральной идеей, отлитой в гранате» — и, похоже, сама не поняла, что сказала. А попала в точку. На приватизации и перепродаже можно заработать — но можно заработать и на самом Гугине. Например, сделать на эту тему статью под названием «Всюду Шпенглер».

Третий журналист, дама, вспоминает о тех самых словах про отлитую в гранате либеральную идею, так некстати сказанных ею на фоне «тартараса» и вообще поклепа на революцию. Гугин не оправдал аванса. Ничего, выпишем инвойс...

Девушка по имени Надя в нескольких метрах от импровизированной сцены протирает горшок с чахлым ростком пальмы (в горшке стоят две крохотные красные лошадки из пластмассы) и не думает ни о чем — просто смотрит на эту пальму и лошадок. Почему-то земля кажется ей сегодня особенно черной.

За остальными умами в офисе «Контры» я не слежу.

Кеша слушает хриловатый бас Гугина. На душе у него скверно, как и всю последнюю неделю: очень плохие служебные перспективы.

Он замечает тень какого-то движения у себя за спиной, оборачивается и видит незнакомого человека, идущего по проходу между столами.

Человек глядит Кеше прямо в глаза. У него небритое лицо горного пассажира, он грязен, за плечами у него рюкзак. Под его распахнутой курткой видна майка с пучеглазой белой овечкой, весело жующей стебли конопли. Его глаза стеклянно блестят: он то ли на наркотике, то ли в трансе. Его губы дрожат — или быстро шепчут.

Кеша понимает, что незнакомец идет именно к нему — но не знает зачем (а я это уже знаю: человек с рюкзаком уверен, что идет ко мне, поскольку наводится на мое внимание, направленное на него из Кешиных глаз). Кеша успевает встать и выставляет перед собой руки. Человек как бы падает в Кешины объятия — и прижимает его к себе изо всех сил, словно встретив наконец любимое существо, которое искал перед этим всю жизнь. Кеша успевает почувствовать нелепый эротизм момента. Сжавший его человек тоже, видимо, ощущает нечто подобное — и шепчет:

— Меня зовут Бату... Аллаху акбар.

Затем происходит страшной силы взрыв. Лампочки всех собравшихся в комнате умов сразу гаснут.

Я прихожу в себя. Ялежу на полу — сила взрыва была такой, что меня сбросило с моего стула этажом выше. Проходит секунда или две, и я понимаю, что больше никогда не буду Киклопом.

А теперь я объясню, как я им стал — и что это слово значит.

Яне собираюсь рассказывать о себе слишком много. Мое настоящее имя должно быть скрыто — такова древняя традиция, и я не хочу ее нарушать. Но это и не понадобится: называя себя последней буквой алфавита, я проявлю смирение, которого мне не всегда хватало в прошлом.

Все началось с того, что умер один из моих дальних родственников — и оставил мне однокомнатную квартиру в Москве недалеко от Садового кольца. Это сильно упростило мою жизнь: я переехал туда из съемного жилья. Теперь я мог работать меньше, и у меня появилась уйма свободного времени. Я занимал его в основном прогулками, чтением и спортом. Со временем я собирался стать «писателем» — это означало, что, зря растрчивая молодость, я уверял себя, будто накапливаю необходимый жизненный опыт.

В квартире был сделан приличный ремонт, поэтому я ограничился тем, что вывез все оставшиеся от покойного вещи, заменив их своими пожитками. Я оставил только один из доставшихся мне по наследству объектов — большой фанерный ящик, полный старых книг и желтых ксерокопий. Сохранил я его главным образом потому, что мне понравилась украшавшая его надпись масляной краской:

КОРОБКА № 1

Мой покойный родственник, что-то среднее между дядей и дедушкой, был одним из позднесоветских «внутренних эмигрантов». Он всю жизнь собирал характерную для этой среды литературу, главным образом так называемую «эзотерику» — и хранил ее в задвинутом под кровать ящике, чтобы она не попадалась на глаза редким гостям. В советское время каждый сторож свято верил, что за ним следят — и был, возможно, прав.

Не могу сказать, что во мне проснулся внезапный интерес к тайному знанию времен московской Олимпиады. Но отчего-то мне показалось неразумным выкинуть доставшиеся по наследству облигации и ваучеры духа, даже не попытавшись их обналечить.

В коробке были фантастические романы, которые обитатели советских катакомб принимали за послания свыше. Были послания свыше, замаскированные под фантастические романы. Были древнеегипетские тексты, сочинения Шмакова и Блаватской — и прочий археологический материал. Там же нашлось несколько книг индийских учителей в английском оригинале.

Странный информационный коктейль, вылившийся на меня из этого фанерного ковчега, надолго зачаровал мою душу. Есть такой анекдот про слепых, ощупывающих слона — вот и я, можно сказать, осваивал похожий подход к древней человеческой мудрости.

Конечно, сейчас многие скажут, что приветливый хобот, касавшийся моих страждущих губ, был на самом деле мокрым хвостом уходящей в забвение драг-культуры шестидесятых. Но даже если я заблуждался, мне все равно везло. Везением была сама возможность ошибки — в те дни ошибиться было еще можно, и именно сбой матрицы, как это всегда бывает, вели в непредсказуемый лабиринт чудесного.

Желтые страницы шептали: если ты хочешь, чтобы высокое и тайное вошло под темные своды твоего «я», следует развить в себе благоговение и склониться перед неизвестным в молчаливом поклоне. Дело не в том, что кому-то нужны эти поклоны. Тут действует простой эффект наподобие физического: чтобы легкие втянули в себя свежий воздух, в них должен возникнуть вакуум. Нельзя наполнить чашку, которая полна до краев — она должна быть пустой.

Мы все лишь части единого, впитывала в себя моя замершая в поклоне тишина, и главным

заблуждением человека является вера в то, что вокруг него — какой-то «внешний» мир, от которого он отделен воздушным зазором. Человек состоит именно из мира, прорастающего сквозь него тысячью зеленых ветвей. Он и есть переплетение ветвей, поднимающихся из озера жизни. Отражаясь в его поверхности, ветви верят в свою отдельность, как мог бы верить в нее, к примеру, зеркальный карточный валет, не догадывающийся, что им просто играют в дурака и без колоды он нефункционален.

Наш ум — продолжение ума тех, кто жил раньше, наше тело состоит из праха древних звезд, а волшебный язык, на котором мы думаем об этом, самая центральная и интимная часть нашего существа — выставлен напоказ в любом букваре... Высшее «Я» мира — в каждом из нас, шептали желтые страницы, только сумей найти его.

Но я сразу понял, что искать это высшее «Я» будет другое, низшее — которым я в результате и окажусь. Вся тайная мудрость человечества представлялась мне чем-то вроде зеленого лесного лабиринта. Его тропинки подводили близко-близко к висящему над ним яблоку истины — и снова уводили прочь. Сделаться, стать, оказаться тем единственным, что было всегда и с самого начала, для смертного человека невозможно. Одна кажимость может как угодно перетекать в другую, облака могут принимать самые разные формы — но они никогда не смогут стать небом.

«Понять, что ты всегда был...»

Желтые страницы, похоже, немного ввали.

Или хитрили. Или недоговаривали. Мираж может понимать про себя что угодно, но никогда не станет вечностью — он в лучшем случае станет ее миражом. Путей в вечность не существовало просто потому, что по ним нельзя было уйти дальше, чем от забора до могилы, причем даже это короткое путешествие начинали и заканчивали совершенно разные существа. В комментариях мелким шрифтом сообщалось, что это отсутствие пути и есть он самый. На этом можно было успокоиться, подивиться лишней раз мудрости древних — и все забыть.

Но меня не оставляло чувство, что есть какое-то очень простое действие — как выразались мои источники, «трансцендентное усилие», способное разом спрямить все углы и убрать все нестыковки. Я подозревал, что «гордиев узел» не следовало даже рубить — его, как в цирковом фокусе, можно было сдвигать вниз по веревке, пока он не упадет.

Дело в том, что это не искатель истины становился бесконечностью, как пели желтые страницы. Все было наоборот — сама бесконечность становилась искателем истины. Она-то могла это сделать, потому что способна была принимать любую форму, в том числе уже существующую. Ямог, согнув пальцы, изобразить на стене тень крокодила. Но тень крокодила даже при величайшем духовном усилии никогда не смогла бы стать моими пальцами.

Однако вечность делала это не по выбору соискателя, а по своему собственному разумению. И тогда действительно все углы спрямлялись, все невозможности исчезали и все гордиевы узлы падали в траву сами собой.

Но как? Как? А никак, хихикали желтые листы, путь именно таков. Ядолго размышлял — и, кажется, понемногу начал понимать это «никак». Оно подразумевало тишину, покой и как бы отсутствие волн. А покой был невозможен без чистой совести. Но что значит — «чистая совесть»?

Помню поразившую меня сцену в каком-то русском романе: бандит с крестом на груди перед выгодным убийством задумывается на секунду о его моральных последствиях — и, махнув рукой, бросает:

— А! Отмолю...

При всем уважении к отечественной духовной традиции, я чувствовал — дело не в «отмолю». Многие из того, что человечество полагало грехами, казалось мне невинными шалостями. Но совершать их все равно не следовало. Просто потому, что нарушение земных, небесных — или полагаемых таковыми — установлений, какими бы странными они не казались нормальному человеку, неизбежно порождало в душе беспокойство.

В уме как бы раздавалось множество гневных древних голосов, которым отвечало такое же множество раздраженных тонких голосков помоложе. Это случалось независимо от духовной СНЛБІ отдельно взятой личности и от весомости личного «право имею» — собранный в душе культурный организм неизбежно вступал в диспут сам с собой (что хорошо показывала, например, история Родиона Раскольникова).

Дело было не в том, кто из голосов «прав», а в самом этом сумеречном состоянии духа, различавшемся по интенсивности от шторма до ряби — которое полностью лишало ум его, так сказать, отражательной способности, пряча от человека небо вечности с его великими звездами. Я догадывался, что именно для этого мировые эмиссионные банки и финансируемая ими культурка и поддерживают так называемый «прогресс», этот вечно тлеющий конфликт между равновонючими «старым» и «новым». Вечность не то что брезговала войти в пораженные клокочущим смятием души. Она просто не могла.

Зеркало души следовало держать чистым и ясным — и делать все возможное, чтобы в нем не начиналась рябь. Поэтому я старался не причинять зла другим и следовал даже глупым социальным установлениям, если за их нарушение полагалась внутренняя кара. Я помогал людям чем мог, не делая из этого, впрочем, фетиша — и вообще был покладистым и добрым: это позволяло быстро забывать встречных.

Разумеется, я не держал зла на сделавших мне дурное, принимая это просто как одно из свойственных жизни неудобств. Я не обижался даже на тех, кто сознательно стремился меня оскорбить и унижить, видя в этом трогательную попытку набиться мне в знакомые.

Помогало мне, в частности, то обстоятельство, что я отчетливо понимал: в России «восстановление поруганного достоинства и чести» быстро приводит на нары в небольшом вонючем помещении, где собралось много полных достоинства людей, чтобы теперь неспешно мериться им друг с дружкой. Мне никогда не хотелось составить им компанию из-за химеры, которую они же и пытались инсталлировать в мой ум.

При первой возможности я старался отойти от плюющихся подобными императивами граждан как можно дальше. Я научился различать конструкции, собранные ими в моей психике в мои бессознательные годы. Поэтому у меня без особого усилия получалось замечать в своей душе приступы ненависти, столь характерные для нашего века, и я почти никогда не позволял им обрести для себя рационализацию, превращающую людей в русофобов, либералов, националистов, политических борцов и прочих арестантов.

Я ни разу не испытывал искушения гордо посмотреть в глаза идущему мимо гостю столицы или укусить доberman за обрубок хвоста.

У меня не было ни политической программы, ни травматического пистолета. Я позорно уклонялся от революционной работы и не видел в показываемом мне водевиле ни своих, ни чужих, ни даже волосатой руки мирового кагала. Куски распадающегося мяса, борющиеся за свою и мою свободу в лучах телевизионных софитов, не вызывали во мне ни сочувствия, ни презрения — а только равнодушное понимание управляющих ими механизмов. Но я всегда старался сдвинуть это понимание ближе к сочувствию — и у меня нередко получалось.

Я не смотрел телевизор и не читал газеты. Интернетом я пользовался как загаженным стационарным сортиром — быстро и брезгливо, по необходимости, почти не разглядывая

роспись на стенах кабинки. И к двадцати пяти годам тревожная рябь в моей душе улеглась.

В жизни всякого молодого человека есть огромные равнины скуки. Ничего не происходит, ты цепенеешь, как дерево в июльский полдень, и кажется, что «сейчас» никогда не сдвинется с места. В эти минуты мы и принимаем свою главную позу — главную не из-за какого-то присущего ей смысла, а потому, что именно такими вечность фотографирует нас на память. Она чаще всего запоминает нас молодыми.

Для меня эта вечная фотография выглядит так: парень в сером кимоно (оно было мне очень велико и служило чем-то вроде домашнего халата) сидит в полулотосе перед старым зеркалом в дубовой раме. Зеркало таких размеров, что больше похоже на калитку. Подложка стекла уже стала окисляться, или что там бывает со старыми зеркалами, и по ней веером расходятся черные пятна. Но мне это не мешает — там, куда я гляжу, со стеклом все в порядке.

Я делаю упражнение «циклоп», описание которого нашел в коробке № 1 — в рассыпающейся от ветхости брошюре (мелованная бумага, синий шрифт с ятями, 1915 год).

Упражнение заключается в том, что йогин (меня ужасно волновало это слово) садится перед зеркалом на расстоянии чуть меньше метра (точная дистанция подбирается экспериментально) и скрещивает глаза таким образом, что их отражения раздваиваются — пока отражение правого глаза не накладывается на отражение левого точно над переносицей. Сделать это просто, сложнее долго удерживать отражения в таком ракурсе. Но при известной практике можно научиться. Результат упражнения, утверждала брошюра — развитие ясновидения.

Я не особо верил в ясновидение, конечно.

Но меня развлекало происходящее. Довольно скоро из зеркала на тебя начинает смотреть очень глубокий, странный и удивительно реальный глаз, уже не совсем твой — по своей геометрии он представляет собой нечто среднее между правым и левым. А потом ты вообще перестаешь видеть что-то кроме него, поскольку иначе невозможно удерживать его в фокусе. Если делать это упражнение долго — а я иногда просиживал перед зеркалом часами, — глаз начинает понемногу оживать.

Через него поочередно проходят все возможные человеческие выражения: презрение, гнев, интерес, омерзение, равнодушие, насмешка...

Я знал, что вижу просто отражение своего собственного ума («психического состава», как выражалась ветхая тетрадка с синим шрифтом). Но постепенно я начинал понимать — дело не только в психическом составе.

В упражнении определенно скрывалась тайна. Смотрящий из зеркала глаз не был моим. Он вообще не был чьим-то. Мне казалось, он больше всего похож на дверной глазок. Я сижу перед дверью, а за ней время от времени проходят неизвестные и ненадолго останавливаются на мне взгляд (как если бы платоновскую пещеру приватизировали и укрепили стальной дверью какие-то философы с очень серьезными связями).

Иногда странный глаз смотрел на меня с ненавистью, иногда с презрением, иногда брезгливо — и каждый раз мое сердце испуганно соглашалось, что именно этого я и заслуживаю.

Но однажды глаз посмотрел на меня с новым выражением.

Оно походило на сочувственное понимание. Причем понимание инженера: мне показалось на миг, что этому взгляду моя душа представляется чем-то вроде пинбола — наклонной доски с лунками, по которой катается выброшенный пружиной шарик, отскакивая от электрических рычажков. Глядящий мне в сердце глаз внимательно рассматривал этот пинбол.

Потом мой взгляд расфокусировался, и глаз исчез.

Воспоминание о случившемся вслед за этим до сих пор вызывает у меня содрогание. Мне вспоминается сцена из старого фильма-катастрофы, где была показана изнутри кабина врезающегося в океан «Конкорда» — лобовые стекла за долю секунды превращаются в фонтаны сверкающей воды, сносящей на своем пути все.

Стоящее передо мной зеркало вдруг словно врезалось на огромной скорости в океан — или это поверхность океана с той стороны стекла со страшной силой ударила по зеркалу и мне, расшибла нас взрывом и разорвала на атомы...

Когда я пришел в себя, я лежал на полу в центре комнаты. У меня болела неловко подвернутая нога, но я был цел. Зеркало тоже выглядело целым — и кое-где на нем даже виднелась пыль, из чего следовало, что случившийся передо мной взрыв был просто галлюцинацией. Или, тут же возникла в моем сознании мысль-противовес, взрыв был настоящим, а галлюцинация — то, что я вижу сейчас...

Явстал и посмотрел в открытую дверь балкона. Был виден близкий дом напротив, окно чужой кухни. В нем копошилась у плиты грудастая женщина с агрессивным румянцем во все лицо. Она уколола себя в палец ножом — и наморщилась от боли.

Ее звали Мария Львовна. Ей было немного за сорок, у нее имелся муж и двое детей. Мужа она ненавидела за маленькую зарплату и большой член (да, бывает и такое), детей скорее любила — но проявлялась эта любовь тоже как ненависть, и они ее боялись. Она была родом из Костромы, выросла на берегу Волги, в детстве ей подарили пластмассовый велосипед с тремя красными колесами — и один раз, когда она на нем катилась по лесной тропинке, ей на руку села удивительно красивая оса с длинным брюшком и с почти человеческим остервенением вонзила жало прямо ей в палец...

Мое внимание за секунду провалилось в память этой женщины по какой-то странной избирательной траектории, минуя множество спрессованных событий — прямо в ту точку, где возник эмоциональный рефлекс, исказивший ее лицо. Она сама даже не знала, что переживает это давнее происшествие заново — а я знал.

Я знал много другого. У нее было плохое настроение из-за только что кончившегося скандала с привлечением милиции: она обвинила живущего за стеной соседа (математика из института им. Стеклова, это мне тоже откуда-то было известно) в педофилии и русофобии — на основании прилетавших из-за стены звуков. Менты, приехав по вызову, хотели сначала забрать ее саму, но главный мент, похоже, ей поверил, потому что по оперативному опыту знал, что почти все бородатые математики — педофилы и русофобы.

А вот муж ей не поверил. Мало того, муж предложил ей написать заявление на другого соседа — обвинить его в некрофилии на основании полного отсутствия звуков за стеной: главный мент, сказал он, наверняка опять врубится. Это, может, было и смешно. Но она не смеялась. Муж хотел выглядеть иронично — а выглядел, на ее взгляд, просто жалко, потому что приносил домой меньше шуток. И кому нужны были его шутки...

Эти смысловые зигзаги возникали перед моим взором, как шоссейная разметка, несущаяся в свете фар под колеса. Я мог пойти по любому маршруту. Я все знал про ее мужа (преподаватель истории в каком-то закрывающемся институте). Я все знал про главного мента (тот сам страдал педофилией, поэтому его вердикту насчет математиков можно было доверять).

Мало того, я мог за секунду провалиться (или обрушиться — так это ощущалось) к любому их переживанию, уже забытому ими самими.

Сквозь их память я мог шагнуть к другим людям. И так сколько угодно раз. Это был бесконечный лабиринт, к любой точке которого я мог перенестись — как если бы впереди раскинулся светящийся город, а сам я сделался током, питающим его огни.

И все это промелькнуло в моем сознании за то время, пока я смотрел на стоящую у плиты женщину в окне напротив. А как только я зажмурился, наваждение кончилось.

Яопять открыл глаза.

Все вокруг оставалось как прежде. Передо мной была серповидная подушка для медитации, коврик для йоги и стоящее у стены зеркало...

Коврик и подушку я купил в свое время через интернет. Но теперь я знал, откуда их привез курьер (магазин со странным названием «Иожимся!» — если знать нужные слова, можно купить курительные смеси, владелец использует одну из продавщиц в качестве персональной strapon-шакти). Язнал, где сделана серповидная подушка (подвальная мастерская, где шили чехлы для мебели и матрасов — для них это был мелкий приработок). Ядаже смог увидеть гречишное поле, где зародилась шелуха, которой набили подушку.

Коврик был из того же магазина, но передо мной его успела два дня поюзать одна девушка с великолепной растяжкой — она вернула его в магазин, потому что для нее он оказался слишком толстым и мягким, а в магазине коврику вернули девственность, запаяв в пластик.

Зеркало... Вот про него я почти ничего не видел. Оно было очень старым, и все, кто его сделал, давно умерли. Я смог различить какой-то полосатый фартук, руки во въевшейся грязи и стоящие у стены деревянные рамы — видимо, в мастерской. Но это видение напоминало обрывок старой и плохо сохранившейся фотографии.

Даже паркет попытался вновь стать умирающим под пилами лесом — и рассказать про своих убийц. Яостановил его лишь огромным усилием воли.

Мир изменился. И как!

Из моих слов может показаться, что это приключение было занимательным и веселым. Но я переживал его иначе — я чувствовал себя ныряльщиком, окруженным стаей агрессивно настроенных рыб, в которых превратились все без исключения предметы. Каждая из рыб хотела ворваться в мой ум и проглотить его. Для этого мне достаточно было остановить внимание на любом из окружающих меня объектов и чуть-чуть ему поддаться.

Подойдя к окну, я посмотрел во двор. Там ходили люди — и я по очереди впустил их в себя, пережив за минуту столько эмоций (довольно, впрочем, однообразных — все люди сколочены из одинаковых досок), что к концу этого короткого трипа вообще перестал понимать, кто я такой на самом деле. Мое прошлое ничем не отличалось от их прошлого — разница была только в том, куда направлено мое внимание.

Сделав еще несколько опытов с неодушевленными предметами (стоящая во дворе красная машина, луковка далекой церкви, мусорный бак, после которого мне расхотелось экспериментировать дальше) и с птицами (мне стало ясно, почему животным раньше отказывали в душе — они ничем не отличались от того, что с ними происходило, в то время как люди несли в себе обособленный, клокочущий и никак не связанный с окружающим мир), я окончательно понял, что мне совсем не нравятся эти информационные инъекции.

Они были не то чтобы болезненными, нет.

Они были слишком назойливыми. Врывавшееся в меня переживание каждый раз оказывалось новым, оглушительным и настолько ярким, что напоминало взрыв светошумовой гранаты в голове.

Я,к счастью, мог сопротивляться этим вторжениям, удерживая наведенные на меня со всех сторон острия бесчисленных смыслов. Ямог выбирать, чему поддаться, а чему нет. Но стоило мне расслабиться, забыться — и равновесие нарушалось. Одна из пик, как бы вобрав в себя общее давление всего мира, протыкала мою защиту — и я исчезал, превращаясь то в дерево, растущее сквозь человеческие кости, то в просиженную тысячью советских задниц каменную скамью, то в торчащий из мусорного бака сапог, полный тайн своей одинокой госпожи и ее

ротвейлера.

Мне не пришло в голову ничего лучше, чем съесть три таблетки снотворного — и запить их водкой из холодильника («смирновка» оказалась паленым продуктом осетинских водочных баронов, один из которых как бы поцеловал меня небритым вонючим ртом в тот самый момент, когда я выдыхал воздух после глотка). Потом я залез под одеяло, зажмурился и отталкивал от себя любые попытки вселенной пробраться в мой череп до тех пор, пока меня не накрыл черный медицинский сон.

Сначала этот сон был просто глубокой ямой, похожей на могилу. Мне нравилось в ней лежать, потому что мои чувства отключились и перестали меня терзать. А затем меня посетило очень четкое и ясное сновидение. Слишком четкое — я ни секунды не сомневался, что вижу происходящее в реальности.

Я увидел полутемную комнату (что-то вроде высеченного в скале зала), где стоял высокий каменный трон — строгой формы, без всяких украшений. На нем сидела восковая кукла человека. В ней я сразу же узнал себя — несколько, впрочем, идеализированного.

В стене напротив восковой куклы был прямоугольник светящегося стекла. Я догадался, что передо мной то самое зеркало, возле которого я столько времени провел в полулотосе, — но видимое с другой стороны. Из полутемного помещения, откуда я смотрел, казалось, что за стеклянным прямоугольником — бассейн жидкого света, бросающий в каменный зал приятно дрожащие прохладные блики.

По бокам моего воскового двойника стояли два человека в масках. Маски эти походили на венецианские полуфабрикаты до окончательной окраски — они были белыми и изображали простые правильные лица с мягкими чертами, без всякого особенного выражения. На незнакомцах были длинные накидки из сероватой ткани, которые идеально подошли бы и современному хирургу, и древнему египтянину.

Они делали с моей восковой копией что-то странное. Сначала один завязал мне глаза широкой полотняной лентой. Потом он же прилепил в центр моего лба большой открытый глаз. Второй участник процедуры наложил мне на шею под кадыком другую восковую заготовку — красные полуоткрытые губы. А затем первый приклеил на мое солнечное сплетение бледное восковое ухо. Каждый раз, когда их руки трогали моего двойника, я чувствовал прикосновение — на лбу, на шее и в районе груди.

Закончив, оба они повернулись к зеркалу, синхронно поклонились ему — и так же синхронно сказали:

— Киклоп!

Я понял — они обращаются ко мне, а слово «Киклоп» значит то же самое, что «циклоп». Просто это было старинным произношением. Мне показалось, что моих ушей достиг какой-то древний звук, носящийся над миром со времен Трои — если не дольше.

Я уже знал, кто эти люди в масках. Это была Свита. Но мне не следовало пока думать о них, чтобы не тревожить их зря своими мыслями.

Это я знал тоже.

Дальше была чернота.

Придя в себя (я спал почти до середины следующего дня), я понял, что мои проблемы не кончились.

Какое там.

На простыне передо мной лежало выпавшее из подушки перо. Обычное перо.

Мой ум, оттолкнувшись от него, скакнул в зловонный ад птицефабрики, вынырнул в ее дирекции (где царило не меньшее зловоние, только другого рода) — и, после нескольких безумных кульбитов в чужих головах, открыл тайну одного забытого громкого убийства (и

заодно — тайну убийства исполнителя: совсем тихо, через удушение). Вслед за этим в мое сознание с кудахтаньем и вонью ворвалось множество корпоративных секретов российского бизнес-сообщества, от которых я точно так же не успел увернуться...

Но я уже знал, что мне следует сделать.

У меня имелась на этот счет спокойная и уверенная ясность, вынесенная из глубин сна. Яне помнил, привиделось мне такое решение или кто-то его мне внушил — но я понимал, что это единственный оставшийся выход.

Мне надо было совсем отбросить сопротивление и позволить миру полностью заполнить мой ум. Следовало не отталкивать протыкающие мое сознание смысловые лезвия, а пустить их в себя — все сразу. Язнал, какого рода усилие потребуется. Это было примерно как выйти из-под протекающего навеса под дождь. Или как прыгнуть из ледяной стужи в чернеющую на льду прорубь.

Выбора у меня на самом деле не было — иначе моя жизнь стала бы невыносимой. Любое перышко в поле моего зрения могло разорвать мне череп. Яне смог бы всю жизнь фехтовать с этими крадущимися ко мне со всех сторон откровениями — они превратили бы меня в подушечку для булавок.

Надо было решаться. И все-таки я провел в сомнениях всю первую половину дня.

Мне дал пинка холодильник, куда я полез за едой (я не знал, что корейский сборочный конвейер так похож на ленту выдачи багажа в провинциальном аэропорту, а работающие на сборке люди так фундаментально несчастны).

Душ окатил меня страшной правдой о состоянии районного водопровода (после чего у меня возникло желание вымыться еще раз какой-нибудь другой водой).

Даже дверь в ванную успела сообщить мне о пьянстве, которому предаются усатые и краснорожие инженеры испанских мебельных фабрик, из-за чего неправильно просушенный лак трескается потом мелкой сеткой.

Творог и итальянское оливковое масло (не вполне оливковое и не очень итальянское — итальянской на сто процентов была только мафия, подогнавшая из Туниса левый танкер с канолой [21]) проделали такой мучительный и не всегда гигиеничный путь к моей тарелке, что я не знал, как буду их есть дальше. А чай... Нет, лучше бы я не видел, кто и как сгребает его в кучи.

В общем, выглядело это так, словно мир перестал меня стесняться — и показал мне свой срам. Даже не срам, а все свои бесчисленные срамы: разложил перед моим лицом тот самый многочлен, который так ужасал, помнится, заинтересовавшихся математикой красных кавалеристов. Но с ними это происходило в анекдоте, а со мной — в реальности. Мало того, многочлен бил меня своими отростками со всех сторон, стоило мне лишь чуть-чуть потерять бдительность.

Ясновидение было адом. Следовало сдаваться.

Ядогадывался, что пути назад не будет. Последние секунды перед моим прыжком в неизвестное были по-настоящему страшными — они походили на ступени, по которым я поднимался на эшафот. Как любого смертника, меня тянуло оглянуться — и последним приветом из покидаемого мною мира, помню, оказался лежащий на углу стола айпэд. Пропитанный такой американо-китайской потогонной безысходностью, что я даже как-то перестал переживать за себя лично.

И я шагнул прямо в точку невозврата: отбросил свой невидимый щит и позволил миру заполнить меня целиком, со всех сторон и сразу.

Поэты тоже обладают подобием всезнания и ясновидения. Но они не смотрят на мир из окна своей башни, а валяются на поэтической кушетке, глядя в потолок, куда падают отблески столь милых им закатов. По этой причине они отражают происходящее за окном очень своеобразно. Они в курсе, что по небу плывут тучи, но их форму и направление движения представляют не вполне.

И тем не менее.

У Пушкина есть стихотворение «Пророк».

В детстве, надо сказать, я не относился к этому произведению серьезно, поскольку оно присутствовало в школьной программе — куда входит, как всем известно, только рыбий жир, полезный, но совершенно невкусный. Но с этим стихотворением у меня была отчетливая кармическая связь.

В восьмом классе, цитируя его в сочинении, я написал «игорный ангелов полет», вместо «и горный». Учительница литературы, зачитав это место хохочущему классу, язвительно заметила, что сочинение было не по Достоевскому, а по Пушкину — но вряд ли многие поняли ее сарказм.

А я, принеся домой двойку с минусом, выслушал от мамы утешительную историю из ее собственного детства, когда за пушкиниану вообще можно было уехать на лесоповал, и надолго: мамин одноклассник, еврейский мальчик Миша, декламируя это стихотворение на школьном утреннике, оговорился и произнес «шестиконечный серафим на перепутье мне явился» — вместо «и шестикрылый». После чего беднягу месяц таскали по райкомам и горкомам комсомола, с фрейдистской пронизательностью прозревая в рыжеволосом отличнике будущего рефьюзника и сиониста. Что, возможно, и сделало Мишу здоровым антисоветчиком, победоносным эмигрантом — и, в конечном счете, обгоревшим трупом в танке.

Так вот, в этом стихотворении есть действительно пророческие строки. Герой описывает свое общение с ангелом следующим образом:

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он,—

И их наполнил шум и звон...

Здесь верно каждое слово. Причем удивительно точны и последовательность переживаний, и их содержание. Даже непонятно, каким образом поэт обо всем узнал.

Как только я перестал сопротивляться, что-то коснулось моих глаз. Как будто мне безболезненно отрезали веки — и я уже не мог закрыть глаза и перестать видеть. То, что я видел, не поддавалось никакому нормальному человеческому пониманию. Это было похоже на мерцание, наводящееся в зрительном нерве, если зажмуриться, но усиленное во много раз.

Так могла бы выглядеть абстрактная мультипликация на ускоренной перемотке. Я не видел никаких «ужасов» — ужасное заключалось в том, что от этого зрелища нельзя было спрятаться. Я не мог забыться в темноте. Словно бы с меня сорвали толстое ватное одеяло, под которым я когда-то был зачат, родился и вырос — и разбудили навсегда.

Затем давление переместилось на уши.

И здесь Пушкин высказался до того точно, что к его словам почти нечего добавить. Шум и звон, да.

Шум походил на рокот, раздающийся в морской раковине, когда прикладываешь ее к уху.

Только он был намного громче и басовитей, как если бы в раковине действительно ревели шумящее море. Сквозь этот рокочущий низкий звук пробивался другой, нежный и мелодичный: будто бы звон крохотных шестеренок и шатунов, какой-то тонкой бронзовой механики — причем механизмов в этом пространстве было много-много, и очень непохожих друг на друга: все они тикали с разной скоростью. Звон казался удивительно осмысленным — я почти понимал его, словно это был древний язык.

А потом случилось еще одно событие, о котором Пушкин не упомянул. Давление с моих глаз и ушей переместилось на затылок и как бы продавило его, мягко вмяв мой череп до самого центра головы — и какие-то разъятые части моего мозга (я до этого не знал, что они разъяты) выгнулись, соединились между собой и даже как бы защелкнулись, прочно зацепившись друг за друга.

Я понимаю, как это странно звучит, но так оно и было. И мне понятно, почему Пушкин молчит: попробуй найди для такого внутреннего щелчка удачное сравнение (мне приходит на ум только английский замок — но не ставить же его, право, в голову нашему русскому пророку, заключают конспирологи). Так что претензий к Пушкину у меня нет. Но все же, по-моему, не следует использовать стихи в качестве «зеркала эпохи» — поэты часто недоговаривают.

И вот после этого засекреченного Пушкиным щелчка и случилось самое интересное. То невообразимое, яркое, быстрое и пестрое, что мельтешило перед моими глазами, вдруг вошло в синхрон со звенящим гулом в моих ушах — и, став одним целым, совершило несколько невообразимых пульсаций, каждая из которых заставила меня умереть и возродиться в свете и грохоте (я даже не пытаюсь все это описывать подробнее, обычный человек отключится гораздо раньше, чем такое восприятие сделается возможным).

А потом, через миллиарды лет, когда я уже успел забыть, кто я такой (или, вернее, когда я успел вспомнить, что никогда этого и не знал), все снова стало одним целым.

Первым, что я ощутил, было облегчение.

Мой план сработал — вызванная принудительным ясновидением мука ушла. Ворвавшись внутрь, знание всего обо всем как бы свело себя почти до нуля, уравновесив приложенное ко мне снаружи давление таким же внутренним. Лодка приняла в себя балласт и больше не рисковала перевернуться. Теперь я мог спокойно смотреть по сторонам, не опасаясь нацеленных на меня информационных стрел и стилетов.

Но вместо одной проблемы появилась другая.

Бывают такие визуальные шарады: лист, густо замалеванный зигзагами и пятнами, с подписью вроде «найдите на рисунке молодую женщину с веером». Когда находишь эту молодую женщину, делается непонятно, почему она не была видна с самого начала — и уже невозможно перестать ее видеть. Вот и со мной произошло нечто похожее, только вместо женщины с веером в мой ум ворвалась вся вселенная — качнулась несколько раз и застыла.

При этом она каким-то образом опиралась... на меня самого. Словно бы весь мир был огромным разрисованным блюдом, дно которого балансировало на вершине конуса — и этим конусом был мой ум.

Как там дальше у Пушкина?

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье...

Снова все верно.

Только надо расшифровать, что поэт имел в виду.

Я ощутил вселенную как огромное неустойчивое равновесие. К ней были приложены как бы

две разные воли, два разных смысловых знака — и приложены с таким усилием и мощью, что «небо» содрогалось на самом деле. В действительности, конечно, воля в мире существовало невообразимое число, и были они всех возможных направлений и видов. И каждая из них знать ничего не хотела об остальных. Но вместе они складывались в два расшибающихся друг о друга потока.

Один из них хотел быть. Другой — не хотел быть. Или, может быть, правильнее — хотел не быть. Они вступали друг с другом в смертный бой, смешивались, сжигали и вымораживали друг друга — и снова возникали друг из дружки, стоило лишь одной из этих сил достаточно сгуститься. В общем, если вы видели китайский знак «Инь-Ян», то на космическом блюде был начертан именно он.

И уже сверху были добавлены моря и горы, небо со звездами, леса и реки — и мириады живущих в них существ. Дальше начинался космос, он уходил во все стороны и устроен был именно так, как учат в школе — но я сразу ощутил некоторую его, что ли, необязательность.

Мир, который на меня свалился, оказался на самом деле совершенно библейским. Он состоял из воды и тверди, и, хоть они действительно хитро загибались в земной шар, Земля, в полном соответствии с учением церковных мракобесов, была плоской, потому что сознание, опиравшееся на эту твердь, переживало ее именно как плоскость, а круглым шаром она могла стать только тогда, когда переставала быть твердью под ногами и становилась синим бликом в иллюминаторе космической станции. Но в иллюминаторе синела уже не сама земная твердь, а просто ее визуализированная концепция.

Центром Вселенной оказалась действительно Земля. А все солнца, звезды, галактики, квазары и прочие черные дыры были только существующей в мире возможностью, и чем дальше от меня располагалась эта возможность, тем менее реальной она выглядела.

Наверно, я говорю не совсем научно — или совсем ненаучно — но я просто пытаюсь описать реальность так, как я ее ощутил, когда стал Киклопом. Так же ее, видимо, ощущали и все предыдущие Киклопы, отчего человеческое ясновидение никогда не вступало в конфликт с самой обскурантистской картиной мира.

Мой мир состоял не из предметов, а из зыбких, постоянно меняющихся вероятностей.

И если вероятность пола под моими ногами была стопроцентной (минус какая-то исчезающе малая величина, которую можно было забыть), то вероятность бесконечных катастроф пространства, чудовищными водопадами рвущихся назад к началу времени (так я ощутил самые древние и далекие космические объекты), была нулевой (плюс какая-то исчезающе малая величина, про которую тоже можно забыть).

Вероятность, про которую я здесь говорю — чисто бытовая, житейская и практическая. Не было способа ощутить любую из этих космических ламп не как точечный светильник в небе и элемент божественного дизайна (пусть даже с длинным техпаспортом), а как нечто иное. Такой объект существовал не в моем мире, а в его гипотетическом прошлом, откуда прилетал свет — то есть он был чем-то вроде скелета динозавра, намалеванного в небе для красоты.

Все это было на самом деле совершенно нереально — хотя элементы нереальности соотносились друг с другом безошибочно и точно, и разобраться в этих световых окаменелостях не хватило бы и жизни. То, что я понял про космос, можно было сформулировать примерно так: реальность ископаемых космических объектов обратно пропорциональна кубу расстояния до них.

Можно и квадрату. Просто куб мне больше нравится, потому что от него больше пользы в быту. Ибо реальность, как знает любой обыватель, это то, с чем вы можете когда-нибудь столкнуться.

Все, больше никаких уступок научному мировоззрению. Я сразу понял: религиозные

мракобесы были правы, и Бог сначала увидел перед собой черное зеркало со своим отражением, потом по нему прошла рябь и оно стало водой, затем возникла твердь — а потом уже Он нарисовал над этим миром всю небесную сферу с ее законами, историей, скоростью света, красным смещением, синим свечением и мумиями нобелевских лауреатов, вечно летящими в туманность Альцхаймера сквозь сворачивающееся пространство угасающего ума. Причем нарисовал так, что Земля стала просто пылинкой в этом потоке.

Наш Бог, (если Он есть), не физик.

Бог скорее художник — и большой шутник.

Чтобы не сказать — хулиган из группы «Война», создавший Вселенную, чтобы написать на ней неприличное слово.

Причем каждая из его шуток становится непреодолимо серьезной для тех, кто хочет познать Его через физику — и в этом, я бы сказал, заключен особо жестокий сарказм. Потому что пройти к Нему можно и через двери физики, вот только лететь до дверной ручки нужно будет пятнадцать миллиардов лет, и то — если удастся разогнаться до скорости света.

Мало того, Бог не только шутник, он и сам шутка. Ибо в реальности — не той, что светится в этом черном планетарии над нашими головами, а в настоящей, по отношению к которой весь видимый мир есть лишь зыбкая тень, пузырится огромное число возникающих и исчезающих миров, и у каждого есть свой Бог, и над каждым поднят черный балдахин своего космоса с удивительной древней вышивкой, и среди этих вышивок нет двух одинаковых.

И дело не в том, как устроен космос и всевластен ли Бог, а в том, что любой такой всевластный и всемогущий Бог — это, если я позволю себе поэтически воспользоваться современным научным жаргоном, просто царек микроскопического одиннадцатимерного вероятностного пузырька, тайно раздутого до размеров трехмерной иллюзорной Вселенной, общая энергия-масса которой равна нулю. Несчетное число таких богов и создаваемых ими вселенных рождается и исчезает в каждом кубическом миллиметре шанса каждую секунду, и в любом пузырьке спрятана своя нелегальная вечность. Бесконечный рой Иегов и порождаемых ими космосов, и каждый Иегова единственный, и каждый оглушительно хохочет. Но стоит только чуть-чуть скосить глаза, и никого из них уже нет.

Все вечности и их владыки идут по одному непостижимому пути — но мне не позволено сфокусировать на нем свой взгляд, и брезжащая на периферии сознания догадка о существовании этого пути и есть тот единственный способ, которым он может быть познан.

Но это просто нарисовано в небе, а важно в мире то, что происходит сейчас и здесь. Остальное — декорации. Вселенная существует в нас, и только в нас. Все галактики и квазары, смещения и дыры, ангелы и боги не где-то там — а вот именно тут. Если не станет человека, не будет и его вселенной. Будут, возможно, другие, но уже не с нами и не для нас.

Все это за долю секунды прошло через мой потрясенный ум — и я засмеялся, потом заплакал, а потом засмеялся опять. Это и было содроганием неба.

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье...

Да-да. Под совершенно реальным, но декоративным космосом покоилось блюдо мира — огромный Инь-Ян, о котором я уже говорил. Две его противоборствующие силы были живыми: они состояли из множества упертых друг в друга волей, бесконечно могучих и еле ощутимых — начиная с богов и кончая поедающими друг друга инфузориями, и каждая из этих волей, какой бы крохотной она ни казалась, содержала в себе все содрогающееся небо.

Самое поразительное заключалось именно в этом. В том, что прозябание любой «дольней лозы», о которой не задумается и муравей, содержало в себе немислимую битву величайших

ангелов и демонов мира. Оно было как бы вычитанием нижней бездны из верхней — и крохотная разница между ними и становилась этим «прозябаньем». То же относилось ко всему живому.

И когда какая-нибудь одинокая, нищая и забытая всеми старуха плачет в своей конурке, понял я с благоговением, вся огромная неизмеримость содрогается и плачет вместе с ней, и в этом самое удивительное и поистине божественно страшное.

Мне было неясно, зачем эта сила вошла в мою душу, показав мне то, что не следует, скорей всего, знать человеку. А потом баланс мира, который я держал на гвозде своего ума, чуть-чуть сместился, и я понял.

УДАР ЗОНТИКОМ

На огромном космическом блюде часто происходило — или, вернее, набухало, грозило произойти (я даже не понимал сперва, что вижу будущее) — какое-то событие, нарушавшее общий порядок мироздания. По непонятной причине всегда только одно.

Сначала эта единичность казалась мне поразительной, но, поразмыслив, я перестал удивляться. Ведь любое равновесие, нарушаясь, смещается куда-то конкретно, в одну сторону — а не во все сразу. Но выглядело это тем не менее странно.

Равновесие, о котором я говорю, не физическое, а баланс тех самых живых воль, составлявших все разнообразие человеческого мира (за другие сферы реальности я, к счастью, не отвечал).

Человеческий мир сохраняется, потому что эгоистические и безрассудные действия людей, преследующих собственные цели, удивительным — и совершенно анекдотичным на первый взгляд образом — нейтрализуют и компенсируют друг друга.

Поток нашей истории состоит не из осмысленных действий «субъектов», движущихся к своей цели, а из переплетения мириад причинно-следственных связей, бесконечно древних, совершенно бессмысленных в своей пестроте — но управляющих ходом жизни. И в этих связях (индусы называют их кармой), несмотря на всю их нелепость, нет ни малейшей случайности, потому что они развивают и продолжают тот импульс, который дал когда-то начало миру.

Но во всякой сложной системе иногда возникают сбои и перекосы. Их, к счастью, почти всегда можно выправить — так же, как мы удерживаем равновесие, катаясь на велосипеде или коньках.

Я чувствовал тонкий баланс человеческого мира примерно как стоящий на канате циркач, держащий на носу трость и жонглирующий кеглями — только на моем носу был весь цирк, и это не зрители глядели на меня (они обо мне даже не подозревали), а я на них. Когда равновесие чуть нарушалось (такое происходило почти каждый день), мое внимание тут же устремлялось к той точке зрительного зала, где это случилось, а остальное исчезало в тени. Я видел, что мне нужно сделать, даже не вникая в суть событий.

Попытаюсь объяснить, что я имею в виду, на условном, но зато всем понятном примере (о реальных случаях своего вмешательства я, увы, не могу говорить по правилам служебного кодекса).

Бывают кинокомедии (и фильмы ужасов тоже), в которых прослеживаются очень длинные причинно-следственные связи. Например, брошенный с киевского балкона окурок попадет на воротник сотнику Гавриле, переходящему дорогу. Имя в данном случае тоже условное: у Ильфа и Петрова, помнится, кто-то из героев писал «Гаврилиаду» — поэму о бесконечном многообразии возможных истоков Первой мировой. Вот и я о том же.

Таврило останавливается и начинает чистить камуфляж. Его сбивает вылетевший из-за угла грузовик с покрышками, Таврило в тот вечер не выходит на трибуну майдана, Янукович еще на полгода сохраняет свой золотой батон, Крым остается украинским, Обама не обзывает Россию региональным бастионом реакции, и все остальные колеса истории, большие и малые, не приходят в движение. Направление, в котором сместится равновесие мира, зависит от того, попадет ли окурок в сотника в нужный момент.

Представим себе, что из-за возникшего в мире дисбаланса стоящему на балконе курильщику, уже дотягивающему свою сигарету на февральском ветру, собирается позвонить ушедшая по революционным делам жена, из-за чего курильщик не затянется в последний раз и окурок полетит вниз слишком рано.

Жена курильщика, готовая сделать роковой звонок, ушла на самом деле не жарить пирожки для воинов света, как наврала мужу — она спустилась на другой этаж, где ее трахает приезжий активист из Тернополя. Этот активист еще может спасти братство славянских народов, если закончит процедуру на полминуты позже и звонок опоздает...

Но для этого жена курильщика должна выглядеть менее привлекательно — у нее под глазом должен быть замазанный тональным кремом синяк... Который ей три дня назад могла поставить вредная гражданка, поспорившая с ней в метро о месте Симона Петлюры в украинской истории... Но для этого у вредной гражданки должен быть с собой тяжелый зонтик с синей ручкой, совершенно не нужный нормальному человеку в феврале.

И так далее, без начала и конца — подобные связи уходят в прошлое и будущее бесконечно далеко.

Когда я чувствовал, что хрупкий баланс мира готов нарушиться, главное было обнаружить и исправить сбой как можно раньше. Например, в тот момент, когда собирающаяся на улицу вредная гражданка глядит на зонтик и думает: «брать или не брать?»

Мне не нужно было знать, зачем ей зонтик в феврале. Мне не следовало разбираться в политических взглядах сотника или вникать в отношения балконного курильщика с женой. Мне ни к чему было выяснять, какие женщины нравятся тернопольскому активисту. Спрессованное до мгновенного инстинкта узнавание сути указывало мне: вредная гражданка в городе Киеве раздумывает, брать ли с собой зонт — и от этого в будущем может случиться много неожиданного. Если она положит зонт в сумочку, мир будет одним. А если нет, он будет другим.

Сбой мог возникнуть именно в этот момент.

А исправить его можно было и потом, тысячью разных способов: по линии тернопольского активиста, по линии курильщика, по линии шофера грузовика и по множеству других вплетенных в эту историю траекторий и маршрутов, вплоть до самого сотника Гаврилы. Целые гроздья возможностей возникали в моем наведенном в будущее уме. Я видел их слоями и фракциями — они делились на тяжелые и легкие. Легкие не оставляли за собой ряби — а тяжелые и грубые создавали новые проблемы, которые опять надо было решать — «гасить волну», как я это называл.

Я не знал ничего про связь зонтика с Крымом — хотя мог бы при желании проследить все причинно-следственные переходы. Но я так не делал. Я лишь чувствовал инстинктом, что равновесие мира проще всего уберечь, чуть поработав с этой совершенно незнакомой мне гражданкой и ее зонтом. Я не вглядывался в будущее без нужды, ибо всезнание было мучительным.

До какой степени, понять может только другой Киклоп. Из общеизвестных метафор, дающих об этом представление, мне вспоминается герой старого ужастика «Восставшие из ада» — демон, голова и лицо которого были утыканы маленькими острыми гвоздями, торчащими из кожи. Они, должно быть, вызывали невероятную боль при любом прикосновении. Если бы эти гвозди торчали не из кожи, а из обнаженного мозга и были подключены к электрическим проводам, вышло бы еще точнее.

Мой дар был избыточен. Я мог залезть в шофера грузовика, в курильщика, в его жену, во вредную гражданку — но это было все равно что начать перебирать солому бесконечного стога, уже найдя в нем иголку, в то время как мой радар замечал в сене новые иголки, которые следовало вытаскивать.

Поэтому на моем всеведении сразу же натерлась своего рода мозоль. У человеческого глаза есть «слепое пятно» — зона напротив зрительного нерва, не воспринимаемая глазом.

У меня развилось подобие такого пятна. Оно закрывало почти всю область возможного — кроме той части, где равновесие мира грозило сместиться. Я мог не обращать внимания на

остальное. И если бы не это счастливое обстоятельство, я просто сошел бы с ума.

Я чувствовал будущий дисбаланс как набухающий на мировом блюде прыщик и давил его в зародыше, но прыщ, чуть выждав, норовил вскочить на новом месте. Можно было считать все прыщи разными, но мне отчего-то казалось, что это один и тот же блуждающий нарыв, поочередно пробующий на прочность разные точки мира.

Поэтому, несмотря на всю грандиозность пережитых мною видений, в практическом смысле моя функция была довольно скромна. Мало того, я отвечал не за всю вселенную, и даже не за весь человеческий мир, а только за небольшой его участок, географически совпадающий с русскоговорящими территориями («глагол», о котором я сейчас расскажу, был как-то связан с языком — здесь мое доброе увещание слышали лучше).

Но иногда мне приходилось исправлять искажения, возникающие и за этими пределами, из чего я заключил, что Киклопов в мире как минимум несколько, и иногда они дублируют друг друга. Увидеть других я не мог, из чего следовало: у моего ясновидения есть границы.

Позже оказалось, что границы действительно существуют — и они значительно уже, чем я предполагал.

«Пророк» Пушкина кончается так:

Исполнишь волею моей

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей.

Воля, которой я исполнился, была очень простой — человеческому миру следовало оставаться в равновесии, то есть развиваться по своему исходному плану. Когда на пути этого плана возникали препятствия, я чувствовал их сразу — и мне следовало расчищать дорогу. Но я уже достаточно рассказал о проблеме и ничего не сказал о том, как она решалась.

Мне, конечно, не требовалось обходить моря и земли, как надзирателю свой околоток. Довольно было обводить их мысленным взглядом, не сдвигаясь с места. А вот насчет «жги», да еще и «сердца» — тут Пушкин чуть сгустил краски.

Как я уже сказал, зоной моей ответственности были события в человеческом мире. Инструментом, с помощью которого я влиял на людей, мне действительно служило нечто вроде «глагола» — и другой термин я даже не стану искать.

В голове обычного человека раздается множество голосов, которые он сам не сознает. Можно сказать, что в подвале человеческого ума постоянно происходит воровская сходка, где, собственно, и решается судьба всего дома. Эти голоса постоянно спорят между собой.

Пока они говорят разное, крыше ничего не слышно — она лишь ощущает легкую нервозность. Потом несколько таких голосов соглашаются о чем-то друг с другом и начинают говорить в унисон. Тогда их общая громкость делается достаточной, чтобы их стало слышно наверху — и они становятся командой.

Обычный человек не то чтобы слышит голоса — он им подчиняется. Еще точнее, он и есть эти голоса, поскольку до того, как команды начинают выполняться, никакого человека просто нет: личность возникает именно в процессе их воплощения в жизнь.

Если же человек по какой-то причине слышит эти голоса все время, его или объявляют шизофреником и изолируют от нормальных людей, или назначают пророком и сажают в золотую колесницу. Но это, в общем, известно.

Можно долго спорить о природе таких голосов. Раньше считали, что они принадлежат богам, духам, ангелам и бесам. Потом их стали называть интериоризованными социальными кодами, фрагментами управляющих человеком программ, инвариантами иерархически обусловленной матрицы поведения, и так далее — но сами голоса от этого не изменились ни разу.

Дело, однако, не в том, как я их буду называть.

Дело в том, что я мог зайти в этот подвал к любому человеку — и, совершенно незаметно для него, заговорить на его внутренней воровской сходке не особенно громким, но очень убедительным голосом такого тембра, что все остальные участники сразу же начинали соглашаться, подпевать, подвывать и подблеивать.

В результате человек не то чтобы слышал меня — он слышал себя.

Он вовсе не подчинялся моей команде, он самым естественным образом спешил выполнить сильнейшее желание, вдруг возникшее в самой сердцевине его существа. Поскольку это было его собственным желанием, ему и в голову не приходило подвергнуть происходящее сомнению. На такое способны только некоторые созерцатели — но с ними, по счастью, я практически не имел дел, ибо их сердца пребывают далеко от путей этого мира.

Так вот, если вернуться к нашему примеру — допустим, мне требовалось, чтобы вредная

гражданка взяла зонт. Тогда «глаголом жги сердца людей» заключалось в банальном «женщина, возьми!». Говоря совсем точно, слова «женщина» там не было. Войдя в чужое сердце, я всегда изъяснялся в первом лице: «мне таки нужен зонт» — а вслед за этим и появлялся тот зыбкий голем, которому зонт был нужен. И все.

Никакого дыма, никаких кардиологических ожогов. Женщина вспоминает, что ее тяжелый зонтик с синей ручкой — на самом деле замаскированная дубинка из трех связанных скотчем арматурных прутьев: вещь, крайне необходимая в судьбоносные времена. Она чему-то улыбается, кладет зонт в сумку, выходит из дома — и сквозь морозный туман и растворенную в нем революционную надежду направляется в будущее. Но я за ней уже не слежу.

Ямог бы, наверно, заработать кучу денег, играя на бирже. Но в один из первых сеансов моего общения со Свитой мне было разъяснено, что «глагол» может быть использован только по одному назначению — для устранения мировых дисбалансов. Карой за нарушение этого закона была смерть (мне показали длинную золотую иглу, а потом кивнули на моего воскового двойника).

Мало того, я не мог вмешиваться в самую чудовищную несправедливость, творящуюся на моих глазах. Яне имел права предотвращать преступления, останавливать теракты, тормозить кровавые революции, спасать людей от несчастного случая — подобное даже не обсуждалось. С точки зрения моей работы, реально угрожающие миру дисбалансы возникали вовсе не там, где их видели СМИ и я сам в своей человеческой ипостаси. Все это могло быть частью плана, по которому развивается мир. Мне следовало охранять не свои человеческие представления о должном, а существующий порядок вещей — вернее, не сам этот порядок, а так называемую связь времен (позже я объясню, что это). В общем, я мог или принять правила, или уйти. Яих принял.

Вот и все, что касается Киклопа.

Если читатель ждет рассказа о том, как я спасал человечество в живописных битвах со злом, он будет разочарован — я больше не скажу про свою ежедневную работу ни слова, как и предупредил в предисловии. И вовсе не из скромности.

Во-первых, говорить о конкретном содержании своей деятельности и ее технических аспектах подробнее, чем я уже сделал, я не могу — это часть правил. Думаю, это понятно.

Тайны в нашем мире есть даже у компаний, всего-то навсего торгующих психотропной сахарной водой, подцвеченной экстрактом кошенильного червя.

Во-вторых, мое повествование от этого совершенно не пострадает. Хоть моя работа была крайне важна, назвать ее интересной трудно, поскольку я решал возникавшие проблемы самым экономным и неброским способом, чаще всего даже не зная, какие именно будущие дисбалансы я устраняю — как в примере с зонтиком. Рассказывать о том, как я шпаклевал трещины мироздания, помогая малознакомым людям завязывать шнурки, направлять лифт на нужный этаж или возвращаться домой за забытыми ключами по карнизу второго этажа (самое героическое, что могу припомнить), как-то скучно. Голливудского боевика из этого не выдоишь — приключения районного сантехника и то веселей.

И потом, почти любой человек бывает иногда техническим спасителем мироздания. Нельзя сказать, что в эти минуты он ощущает свою великую роль. Он делает свое дело буднично (поднимает с пола монету, толкает в спину зазевавшегося пешехода, роняет на мостовую бутылку с подсолнечным маслом) и ныряет назад в море неразличимых лиц. Каждый из нас — Лорд-Хранитель этого мира. Ябыл нужен только для страховки.

Поэтому интересно не то, чем я занимался в качестве Киклопа. Интересно даже не то, что я подглядел в чужих сердцах и душах — повсюду преет довольно однотипный мусор, различается лишь форма куч.

Интересно то, что я увидел и понял, направляя свое служебное зрение на разные аспекты человеческой жизни — и будущего. Здесь мне открылось много любопытного, страшного и неожиданного. Именно об этом я и буду жечь глаголом на всех оставшихся страницах — в меру своих слабых сил.

Я знал, что я не единственный Киклоп на свете — и, конечно, не первый. Много тысяч лет они ходили по блюду этого мира — вернее, держали его на своем вытаращенном глазу. Это был, возможно, один из древнейших земных институтов, и существовали строгие правила, которые мне следовало выполнять. Правила не обсуждались. И еще они были довольно странными.

Я уже сказал, что не мог использовать свои силы в личных целях (или даже в соответствии со своими понятиями о добре и зле). Но это было еще не все.

Та уникальная и ни с чем не сравнимая роль, которую я играл в мироздании, подразумевала, кажется, льготы и преференции. Если любой газенфюрер, любой банкир или римский папа (а эти люди вовсе не решают возникающие во вселенной проблемы, а только создают их) живет в собственном дворце, в окружении личных гвардейцев, придворных поэтов и на все готовых танцовщиц, то я мог, как мне кажется, рассчитывать даже на большее.

Свой остров, пурпурная мантия, функционирующий по строгому и таинственному распорядку двор, лучшие сыны и особенно дочери человечества, ждущие, когда на них падет мой задумчивый взгляд... Скульпторы, состязающиеся за право высечь мой портрет в мраморе... Кантаты в мою честь... Белые голуби, выпускаемые на свободу в мой день рождения... И бесконечные заговоры.

Именно для того, чтобы всего этого не происходило, Киклопу следовало скрывать свою миссию и жить среди людей, затерявшись в одном из крупных городов. Он должен был вести среднестатистический образ жизни. Ему следовало быть незаметным для любого внешнего наблюдателя, скрупулезно и подозрительно изучающего нашу реальность (а такие наблюдатели существовали — позже я расскажу о них подробнее). Даже одинокая идиллическая жизнь на небольшом островке была слишком большим риском — подобные опыты ставили в прошлом, и кончились они известно как: встречей с изобретательным царем Итаки и другими активистами прогресса.

Впрочем, случай Полифема исключителен.

Его несчастье связано с тем, что он был единственным Киклопом, отказавшимся от услуг Свиты. Тех самых людей в масках, которых я видел в своем похожем на сон видении. Я не собирался повторять его ошибку — да мне этого никто и не позволил бы.

Раз уж я упомянул Полифема, добавлю, что Киклопом был еще один из известных персонажей древности — его звали Чжуан-цзы, и именно на этом посту он почерпнул свои выдающиеся познания. Его жизнь после ухода на покой сложилась вполне благополучно. Киклопами были и некоторые пророки — но я не называю имен, чтобы меня не обвинили в святотатстве.

А из широко известных современников в их число входил, например, умерший в начале века ученый Джон Лилли (о нем еще будет речь в этой книге).

Именно древние Киклопы и были источником прозрений о будущем человечества — а почему эти прозрения оказались такими противоречивыми и взаимоисключающими, я объясню.

Свита была очень почтенным институтом. Можно сказать, одним из тех тайных орденов, о которых постоянно пишут мастера международного иронического детектива с невысоким масонским градусом. Вот только охранял этот орден не могилку Иисуса и не томик Платона — а меня.

Про Свиту Киклопу следовало знать лишь то, что она существует. Таково было древнее правило, необходимое как для моей собственной безопасности, так и для безопасности Свиты. Мне не следовало надолго останавливать на ней луч своего всеведения. Я не знал точно, где

расположены те комнаты и залы, что я иногда видел, и не старался этого выяснить.

Наше общение происходило незаметно для внешнего мира. Я не звонил никому по телефону, не назначал встреч. Я всего лишь следил за ходом мыслей нескольких сменяющих друг друга служителей, как бы державших передо мной нараспашку свои умы (искусство склоняться в мысленном взоре Киклопа каким-то особым почтительным способом — так, что я действительно ощущал чужое сознание как раскрытую книгу,— передавалось, видимо, из века в век).

Свита решала все возникавшие у меня проблемы. Причем с такой эффективностью, что я почти не чувствовал трения о быт. Мне не надо было никого ни о чем просить.

Эти услужливые умы как бы прокручивали передо мной список различных удобств, новшеств, возможностей и жизненных обстоятельств (все было довольно скромным), откуда я мог выбирать, используя тот самый глагол, которым жег в остальное время сердца гражданских лиц. Затем я точно так же выбирал метод нашей коммуникации из веера возможностей, возникавшего в их мыслях.

Я знал, как выглядит для членов Свиты наше общение — в своем медитативном сосредоточении они предлагали молчащей темноте вариант за вариантом, и темнота рано или поздно делала выбор. Вернее, выбор делали они сами — но в отличие от всего остального человечества они знали, что за этим стоит.

Для любого внешнего наблюдателя мое взаимодействие со Свитой просто отсутствовало. Но всего через неделю после происшествия у зеркала я собрал в сумку самое необходимое — словно уезжая ненадолго на дачу — и вышел из дома. На улице меня ждала машина, обычное такси. Ясел на заднее сиденье и, даже не глядя в зеркальце, где плавали глаза шофера, сказал:

— Поехали.

И машина повезла меня в новую жизнь.

Этот шофер не имел отношения к Свите. Он был водителем такси, приехавшим на обычный вызов. А я — обычным пассажиром.

Ожидающий меня новый дом мало чем отличался от старого, только квартира теперь была на последнем этаже, и из нее открывался вид на лес, одного взгляда на который мне хватало, чтобы снять постоянно копящуюся в моем сознании усталость. Это была простая городская квартира — тихая, удобная и большая. Кроме нее, на этаже имелась еще одна. Но там никто не жил, и я был избавлен от необходимости обсуждать политику и погоду в ожидании лифта — или открывать дверь соседскому ребенку, которому срочно понадобились ацетон, уксус и марганцовка.

В будние дни я выходил из дома примерно в десять часов, когда основная волна спешащих на службу граждан уже успевала стечь в подземные трубы. Я подходил к своей станции метро, спускался вниз и с двумя пересадками ехал в другой конец города по маршруту, линия которого напоминала мне абрис потухшего вулкана с глубоким кратером Кольцевой.

Добравшись до станции назначения, я поднимался на поверхность и шел на работу. У меня была работа, да, как и у остальных людей, спешащих утром по городу. И для внешнего наблюдателя все выглядело крайне убедительно. Сняв меня на камеру в любой момент моего трудового дня, он увидел бы обычную офисную креветку, занятую каким-то невнятным и, скорей всего, низкооплачиваемым делом.

В кадр попала бы оргтехника, чашка кофе, стол со скоросшивателями, плоский монитор и клавиатура — и сам я, в твидовом пиджаке, глядящий в этот самый монитор (или, к примеру, поливающий фикус на подоконнике). Еще в кадре мог оказаться украшающий стену ретрокалендарь (гневные красотики с заклеенными желтым скотчем ртами — то ли политика, то ли принципиальный феминистический отказ в минете, то ли все это вместе: им запрещают

одно, а они в ответ отказывают в другом), какой-то план-сетка со множеством заполненных ручкой граф и портрет Леонардо ди Каприо в роли плантатора, как бы повешенный туда размечтавшейся сотрудницей.

На самом деле моя работа была просто хитрым симулякром — ее не существовало. Я понимаю, что подобное может сказать про себя почти любой представитель креативного класса, но мои слова следует понимать не в переносном смысле, а в прямом. Моя работа была выстроена как симуляция изначально — она не имела отношения к внешнему миру вообще.

Мой маскировочный офис располагался в бывшем сталинском министерстве — просторном послевоенном здании, где сосуществовало огромное число самых разных контор. В мою комнату вела отдельная дверь из длинного коридора с раздолбанным (кажется, еще советским) паркетом.

С обеих сторон от моего кабинета размещались мутные московские конторы, где люди бессмысленно мучались с утра до вечера, выпекая входящие и исходящие документы, подсиживая, кидая и динамя друг друга — а в тайном аппендиксе между этими вавилонскими печами, за столом с декоративными папками, возле исправно работающей, но такой же декоративной оргтехники сидел я.

Расстояние от меня до ближайшего офисного пролетария обычно не превышало пятидесяти метров (самый близкий сидел прямо подо мной этажом ниже — его звали Кеша).

На внешней двери моего убежища, звукоизолированной с обеих сторон, висела выдержанная в общей стилистике этого здания красноватая табличка с желтыми буквами:

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОГИПРО

КИКЛОП о. к.

ПРИЕМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ

Ниже был подклеен скотчем какой-то список: слово «сдали» — и под ним длинный перечень фамилий. Этот список иногда меняла моя секретарша, вешая на его место какой-нибудь другой.

У слова «ОГИПРО» не было никакого смысла вообще. А вот фамилию «Киклоп» выбрали гениально — «Сидоров» или «Рабинович» вызывают понятные подозрения, а такая может быть лишь на самом деле.

За входной дверью начинался небольшой предбанник со столом секретарши — стол этот всегда пустовал. Секретарша приходила в те часы и дни, когда меня на работе не было, и я никогда не встречался с ней лично. Ей объяснили, что она нанята с целью сохранить «вторую инспекторскую ставку» (кто не поверит, услышав такое), а на деле ей надо только убирать офис и симулировать активность, вывешивая на дверь разного рода списки. И еще, конечно, она должна была следить за моей кофейной машиной.

Мой офис был прост и строг — стол с черным кожаным креслом, узкий диван, телевизор, кондиционер, личный туалет (скрытый за неприметной дверью — прямо как в ялтинском кабинете Николая Второго), стеллаж с папками, цветок в горшке. В скоросшивателях, кстати, действительно лежали документы с печатями и подписями, какие-то протоколы и разрешения — подозреваю, что с моей подписью. Секретарша приводила все это в убедительный рабочий беспорядок в те дни, когда меня не было. Ее же невидимые руки наполняли всякой вкусной мелочью небольшой холодильник.

Обед мне приносил в просторной сумке человек в форме курьера DHL. У него был свой ключ от двери. За ней он оставлял свою вместительную форменную сумку с едой — и забирал такую же, принесенную вчера. Соседи по этажу не сомневались, что работа за моей дверью бурлит, кипуче выплескиваясь на международный простор.

Стоявший на моем столе массивный эбонитовый телефон даже не был подключен к линии — и я отчего-то находил в этом особую и высшую привилегию. Таким телефоном не мог

похвастаться ни один диктатор, серый кардинал или масонский главарь. Это я знал точно.

Работа Киклопа отнимала у меня всего несколько минут в день. Но я не собирался бездельничать в своем маленьком гнездышке.

Я говорил о своем желании стать писателем — и теперь наконец у меня было для этого достаточно досуга. Мало того, у меня появился по-настоящему уникальный сверхчеловеческий опыт, а что еще надо, чтобы ворваться в рейтинги и умы?

Я, конечно, шучу.

Я действительно занимался сочинительством за своим рабочим столом около часа в день — и успел написать не так уж мало: три повести, вошедшие в эту книгу (текст, который вы читаете сейчас, был написан, когда я уже перестал быть Киклопом).

Возможно, в таком длинном предисловии есть элемент неронианства: когда разными посулами и обещаниями заманивают граждан во дворец, а потом запирают двери и вынуждают слушать игру на лире. Впрочем, я оцениваю свои опыты трезво: главное достоинство моей безыскусной прозы в том, что она... Она... В общем, я хотел проявить обезоруживающую скромность, вы это поняли и все мне простили.

Но перед тем, как перейти к моим художественным опытам, мне надо рассказать о Птицах — иначе дальнейшее будет не вполне ясно.

Описанные мной меры маскировки могут показаться странными и чрезмерными — вроде бы я, обладая всеведением и способностью влиять на других, легко мог предотвратить приближающееся ко мне несчастье.

Так оно и было — во всем, что касалось злой воли обычных людей или предсказуемой механики этого мира.

Но в мире присутствовала и другая воля, которой я не видел, и исходила она не от людей. Иногда она действовала через них. Но даже и в этом случае она не делалась мне понятна, потому что подчиненные ей люди каким-то образом исчезали из зоны моего восприятия. Они, собственно, переставали быть людьми и превращались в подобие метеоров, падающих в наш мир, чтобы навлечь беды на меня и таких, как я (однажды мне удалось заглянуть в сознание такому метеору — поэтому я знаю, что сравнение подходит).

Странно, но эта враждебная воля не создавала тех дисбалансов, которые я торопился исправить. Возможно, Враг не обладал тем же видением мирового равновесия, что и я, и не понимал, на какие уязвимые точки следует нажать, чтобы его нарушить. Он всего лишь старался сжить меня со света. Но я вовсе не был главной целью: его стратегия применительно к нашему миру оказалась куда фундаментальней. Враг был осторожен, умен — и прятался гораздо лучше меня.

Свита предупреждала меня об опасности с самого начала. Своим мысленным взором я часто видел одного из помощников, склонившегося перед древним египетским папирусом на стене пустой каменной комнаты. Его раскрытый передо мной ум содержал одно бесконечно повторяющееся слово:

УГРОЗА УГРОЗА УГРОЗА УГРОЗА

Служитель сам не знал точно, в чем заключена угроза. Он знал лишь одно — демонстрация папируса Киклопу была единственным способом предупредить его об опасности. Остальное Киклопу следовало увидеть и понять самому. Этому ритуалу было столько же лет, сколько папирусу. Но я пока что не видел ничего, кроме рисунка на свитке.

Рисунок был малоинформативен. Он изображал бога Джихаути — человека с птичьей головой, повернутой в профиль. Его голова была непропорционально маленькой, с длинным изогнутым клювом, а над ней высился сложный и хрупкий головной убор, похожий на поднятый парус. В каждой руке Джихаути держал по маленькому человечку, покорно закрывшему лицо руками — одним он замахивался для броска, а другого держал перед грудью, как бы для противовеса.

Под рисунком был текст, который я неожиданно для себя смог понять (единственный раз, когда мне удалось прочесть что-то по-древнеегипетски — этот язык показался мне подобием комикса, загруженного тысячами хозяйственными смыслами). Смысл надписи был примерно таким: «Придет могучий Враг, сильный и мощный, оружием которому будут люди. Будь настороже в одиноком месте! Воздев руки, увидишь Врага».

Египтолог, возможно, перевел бы текст иначе — но я напрямую видел смысл, заложенный в него его авторами. То, что я перевел как «оружие», в оригинале имело смысл «камень для пращи», но было употреблено, как я понял, метафорически. А «воздев руки» могло так же означать «возложив, подняв, употребив» — вообще сделав что-то руками. «Одинокое место» означало в первую очередь пустыню. Гулять там следовало с осторожностью.

Джихаути, или Тот. Тот самый, хочется мне состричь. Бог магии, письменности и вообще всякой эзотерики. В двух разных написаниях его имени так или иначе присутствовала птица.

Надпись казалась шифром — она явно пыталась сообщить мне нечто важное в обход непосвященных. Но единственное тайное знание, которое я приобрел после этого ритуала, заключалось в том, что мне следует опасаться птиц.

Я попытался донести до служителя, замершего перед свитком в поклоне, что того же результата можно было добиться гораздо проще — изобразив на пергаменте, например, гадающего с высоты воробушка. Его тело тут же стало сокращаться в приступах тихого смеха. Киклоп изрядно пошутил...

Мне, однако, было не до шуток. Надо мной нависла опасность, а я не понимал ее природы и не видел источника. Но предупреждение помогло: именно оно — или, вернее, вызванная им бытовая осторожность, чтобы не сказать пугливость, и спасли мне жизнь при атаке.

Был вечер. Я шел к метро по дороге домой с работы. Стоял один из тех прекрасных летних вечеров, что так обидно проводить в городе — хотя, если задуматься, в любом другом месте они угаснут так же быстро и бестолково. Но грустно мне было все равно.

Помню, я размышлял о том, что назначение красоты — терзать и мучить, поскольку по своей природе она просто обещание невозможного, и никакой другой сути у нее нет. Но если еще можно смириться с этой очевидностью применительно к человеческой красоте, отнести ту же простую мысль, например, к закату (небо сверкало пурпурными императорскими огнями) уже сложнее.

С размножением все понятно, думал я, но зачем материальному миру мучить и обманывать нас надеждой на то, чего в нем не бывает? Да чтобы мы продолжали здесь оставаться — и на что-то такое надеяться... Увы, во mnogой мудрости много печали, и тот, кто видел изнутри столько сердец, сколько я...

Я шел по тротуару, услаждал себя этими закатными размышлизмами и одновременно чувствовал, как в моем сердце нарастает странная тревога. У нее не было понятных мне причин — я не видел в сгущениях и узлах реальности никаких направленных в мою сторону шипов.

Вокруг все было довольно ординарно: в башне через дорогу отставной судья расчленил в ванной пожилую родственницу в видах на ее деревенский дом, дети во дворе, мимо которого я шел, убивали уже смирившегося с судьбой рыжего кота, да еще в пятиэтажке неподалеку три рязанских бандита проверяли оружие перед намеченным на ночь налетом (последние русские пассионарии, ценнейшие в генетическом отношении — а ведь сгниют в тюрьме). Обычный городской ноктюрн, в иные дни вокруг бывало и мрачнее. Ни один из этих бытовых выплесков танатоса не угрожал ни стабильности мироздания, ни лично мне.

Тем не менее моя тревога все усиливалась, и я не мог понять ее причины. Я снова увидел служителя, простирающегося в тайной комнате перед папирусом Тота — он послал мне мысленную просьбу быть настороже. И вдруг во мне сработал какой-то совершенно даже не человеческий, а просто звериный инстинкт.

Я остановился — и отпрыгнул назад.

И в ту же секунду прямо передо мной в асфальт врезался человек.

Я успел увидеть его еще живым, сосредоточенным и целеустремленным (именно такое ощущение вызвало промелькнувшее передо мной лицо с вдохновенно поднятыми над головой волосами — он словно бы куда-то очень спешил, или, может быть, скакал на невидимом коне) — а потом, после отвратительно тяжелого удара, от звука которого у меня внутри все оборвалось, он повернул ко мне лицо, захрипел, несколько раз моргнул и закрыл глаза.

Удар человека об асфальт был страшным в своей фантазмагоричности — бедняга как бы попытался пройти сквозь стену, и это почти получилось, но оказалось, что не совсем и за попытку колдовства придется дорого заплатить...

Самым странным было то, что за секунду до удара я не видел надвигающейся катастрофы.

Ум разбившегося передо мной человека (он уже умирал, тут сомнений не оставалось) был полностью от меня скрыт. Чувство опасности, в самом прямом смысле нависшей надо мной, остановило меня в метре от гибели — если бы я не прыгнул назад, бедняга убил бы меня своим телом.

Подчиняясь тому же инстинкту, который только что заставил меня отпрыгнуть, я шагнул к умирающему, присел рядом на корточки и взял его за руку. В эту секунду я думал только о том, чтобы помочь ему. Но когда мои пальцы коснулись его ладони, я ощутил контакт с его уже сворачивающимся и исчезающим сознанием, и это было как разряд тока.

Его ум показался мне чем-то вроде колодца, на дне которого был я. А сверху, издали издали, на меня смотрели два или три лица, склонившихся над краем этого колодца...

Или, вернее, не лица.

Там были птичьи головы — каждая глядела на меня одним глазом, повернувшись в профиль и показывая мне выгнутый клюв.

Видение держалось перед моим мысленным взором очень недолго, две или три секунды, но за это время мой ум успел увидеть Врага — и понять его, проникнув во все хитросплетения его тайн, как вода входит в сеть подземных капилляров. Язнал теперь, как Птицы видят меня и кем считают...

И еще я понял, почему я не заметил человека, упавшего передо мной на дорогу. После того как он был захвачен Птицами и превращен ими в оружие, он как бы заснул и начал видеть сон. Его тело оставалось на последнем этаже дома (он там жил), а сознание исчезло из нашего мира, превратившись в подобие оптического прицела, через который Птицы пытались меня найти. Япросто успел заглянуть в прицел с другой стороны и увидел их. Для этого мне надо было взять умирающего за руку — в точности как советовал древний папирус. Яне уверен, что последовал совету сознательно. Скорее это оказалось совпадением.

Кем были Птицы?

Япопытаюсь объяснить — но здесь передо мной возникает серьезная проблема. Дело в том, что тот способ, которым я увидел и понял их, сильно отличается от прямого и почти без усилий переводимого в слова опыта моих проникновений в человеческие души. Это было больше похоже на скоростную съемку ночного кошмара, длившуюся в реальном времени лишь секунду или две, но в своем собственном измерении оказавшуюся достаточно протяженной.

И вот я понемногу вспоминал и проявлял увиденное, поражаясь его зыбкой страшной логике и точным, иногда жутко смешным соответствиям с известной мне дневной реальностью.

Яуже говорил про Инь-Ян, главный рисунок на гигантском блюде нашего мира. Одна из его половинок была всем живым, бешено рвущимся из земли к небу: сила, которая хотела быть. А вот та сила, которая хотела не быть...

В разные мгновения в мире людей (и даже животных) существует очень много слагаемых, действующих вдоль ее вектора. Они, в общем, известны — им обыкновенно посвящены первые минуты в каждом выпуске новостей. Но вот сердцевина этой силы, ее источник, ее главное сгущение — находятся не здесь.

Эту силу я и увидел. Именно от нее мне и следовало скрываться, прячась среди людей, сливаясь с их толпой — потому что я делался ей заметен, оказываясь в одиночестве. Она была могучей, всеильной в своем собственном измерении, но среди людей она различала меня так же неясно и зыбко, как я ее.

Это было как бы альтернативное творение, оживляющее наш нанопузырек — первое порождение Творца, желавшее навсегда прекратить всякую прочую жизнь или хотя бы нанести ей максимальный вред. Птицы жили в ином измерении, и искать их в космосе не имело смысла. У них был свой космос, где действовали другие законы. Но они могли проецировать свою волю в

другие миры.

Птицы хотели меня убить, поскольку принимали меня за Бога — или, точнее, за одного из богов (они верили, что творение поддерживается целой армией создателей). Они не понимали, что я мелкий функционер, маска, за которой прячется сила, неясная мне самому.

За одну секунду я постиг, кем были Птицы, чего они хотели и что происходило с людьми, захваченными удавкой их воли. Самое главное, я увидел, каков их главный и неостановимый в сущности план по окончательному решению «человеческого вопроса».

Но я не буду больше громоздить здесь эти драматические словосочетания. Пока впечатление от встречи было еще свежим, старший инспектор Киклоп О. К. написал свою первую повесть — она называется «Добрые Люди». Там я изложил единственным доступным мне способом то, что я увидел во время своих столкновений с Птицами (о нескольких следующих я не буду рассказывать в этой книге — они тоже не причинили мне вреда).

Просьба не принимать мой рассказ слишком буквально. Как я уже объяснил, природа Птиц такова, что запротоколировать встречу с ними невозможно. Это именно «художественное произведение» — метафора, позволяющая скрыть сновидческие нестыковки и перевести смутные постижения в понятные образы.

Герои рассказа — условности, они не имеют отношения к реальным людям. Я всего лишь хотел показать, что происходило с погруженными в принудительный сон беднягами, которых Птицы превратили в свое оружие. Исключением является герой последней главки: он уже немного нам знаком — и будет оставаться с нами до самых последних страниц.

Я попытался изобразить всю темную метафизику борьбы Птиц с тем, что они принимали за Бога, в максимально простой и даже карикатурной форме. Если формулировать сложнее, получится теологический трактат. Но это карикатура только отчасти. Анекдотичная на первый взгляд история про кармический компенсатор — чистая правда: именно из таких анекдотов и соткана окружающая нас реальность.

Правильнее всего назвать эту повесть реконструкцией (или, если вам больше нравится, выдумкой) с вкрапленными в нее кусочками правды. Как иногда размещают на глиняном шаре сохранившиеся фрагменты древней вазы, так и здесь мои точные прозрения наклеены на общий (и общеизвестный) сюжет, нужный для того, чтобы удержать их вместе.

Часть 2. ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Цель человечества — найти Создателя, победить его, выпытать у него страшную тайну тайн нашего предназначения и затем, может быть, убить его.

Лимонов

Щелкнул замок, раскрылись двери, и в Колесницу Смерти ворвался морозный ветер. Николай обернулся, увидел хмурое серое небо, собравшуюся на морозе толпу, эшафот — и Птиц.

Страшнее всего, конечно, были Птицы.

Они, собственно, не особо походили на птиц — это были огромные человекоподобные фигуры в масках с птичьими клювами.

Николай, однако, уже понял, что это не маски, а настоящие птичьи головы. Маску невозможно было оживить с такой достоверностью. Маленькие яростные глаза Птиц плавали в желтых глазницах, за которыми начиналась бахрома мелких перьев. Клювы тоже были настоящими — когда они открывались, становилась видна бледно-розовая плоть, живая и влажная, приросшая к темной острой кости. Если все это и было подделкой, то очень высокого качества.

Птицы казались древними воинами-завоевателями, возвышающимися над низкорослой толпой покоренного народа.

Две Птицы, ждавшие у дверей Колесницы, сверкали трехцветной металлической чешуей — сталью, золотом и бронзой. Они схватили Николая под руки и поволокли к высокому помосту, над которым возвышался Крест Безголовых, похожий на огромную черную «У».

Толпа, только что галдевшая и улюлюкавшая, стихла — и внимательно глядела на жертву, перемещающуюся по живому коридору. Люди плотно облепили проход с обеих сторон, но страх пересиливал: ни одна нога не заступала за ленту ограждения. Николай откуда-то знал, что толпа состоит из спящих, согнанных сюда Птицами прямо во сне. Он знал, что спит и сам, но не помнил, как начался сон и что было прежде.

У Птиц, стоящих на эшафоте, были другие головы. Их клювы блестели ярко-желтыми гранями, а вокруг глаз чернел ободок, из-за чего казалось, будто они в очках. Одна из птиц держала в когтистых пальцах прозрачные таблицы со слабо светящимися письменами.

Возможно, птицы на эшафоте были выше рангом и выполняли функции офицеров — их вид казался более мирным, и в нем даже присутствовала какая-то расслабленная вольность. На них были длинные халаты из плотного материала, отливавшего голографической глубиной. Эта ткань давала иногда странный и неуместный в пасмурный день отблеск — словно от невидимого солнца. С птичьих затылков свисали короткие косицы, качающиеся на ветру — или что-то очень похожее.

Однако их мирный вид был обманом. Когда Николай дошел примерно до середины своего скорбного пути, толпа справа от него стала напирать, и несколько поддерживающих ленту колышков повалились на землю.

Тотчас одна из стоявших на помосте Птиц взвилась в воздух. Она перемещалась рваными зигзагами, как будто взбираясь по невидимой лестнице. Это выглядело уродливо и страшно, словно она летела обманом, от последствий которого ей тут же приходилось уворачиваться с помощью другого обмана, и так без конца — но в результате она поднималась все выше и выше.

Площадь замерла от страха и тоски.

В этом полете был задействован какой-то беспощадный принцип, непостижимый для человека, но, без сомнений, настолько могущественный, что противостоять ему было нельзя. Это почувствовали все.

Толпа с длинными «ах» отхлынула от прохода.

Трудно сказать, где именно летела Птица и как долго — промерцав в разных секторах неба, иногда весьма далеких друг от друга, она опустилась на эшафот, и только после этого время вернулось в свою колею. Николай подумал, что, сделай она над площадью еще один круг, все зрители умерли бы прямо во сне.

Но его уже вели вверх по ступеням.

Когда Николай вступил на эшафот, старшие Птицы повернули к нему клювы очень человеческим движением, и в первый момент ему показалось, будто это переодетые актеры вроде тех, что раздают рекламные листовки возле торговых центров, наряжаясь веселыми зверюшками, чтобы отключить у прохожих критическое восприятие действительности вместе с защищающими от людской подлости инстинктами.

Но потом одна из Птиц вдруг отклонилась назад и поехала к нему по поверхности эшафота как по ледяной горке — словно изменив наклон земной тверди под ногами. Или даже не наклон, а само направление силы тяжести.

Это было страшно — и сразу уничтожило всякое сходство с человеком. Николаю захотелось упасть на колени, и он удержался только потому, что не знал, понравится это Птицам или нет.

Птица указала на подзорную трубу, установленную на краю эшафота. Николай обратил на нее внимание, когда взошел на помост — труба была немного похожа на коммерческий телескоп на мощной подставке, в которой можно несколько минут смотреть на окрестности, бросив в щель монету. Телескоп не был созданием человеческих рук — но Николай понял, что Птицы сделали его именно для людей. Видимо, в трубу следовало поглядеть.

Николай приблизил глаз к окуляру. Перед ним мелькнуло красное пятно с отчетливейшими инфузориями пылинок. Николаю показалось, что трубу куда-то уводит. Он взялся за нее обеими руками и почувствовал, как она балансирует вокруг трудноуловимой точки равновесия. Когда удалось наконец поймать ее, раздался тонкий писк. Картинка в окуляре стала отчетливой и застыла.

Николай увидел пустыню с торчащими из земли красноватыми скалами. В самом центре его поля зрения оказалось возвышение из камня, где было устроено что-то вроде помоста с пюпитром, похожим на рабочее место дирижера. Только на пюпитре лежали не ноты, а стопка прозрачных листов со светящимися знаками — Николай уже видел похожие таблицы у одной из Птиц.

Перед пюпитром стояла невысокая округлая фигура — какой-то толстячок, закутанный в мантию из странно поблескивающей ткани, точь-в-точь как на Птицах. На его голове была сделанная из того же материала круглая шляпа с длинными полями, лежащими на покатые плечи.

Толстяк был почти незаметен среди окружающих камней — его мантия и шапка повторяли их цвет. Он напоминал попика перед аналоем — и занимался похожим промыслом: начитывал по своим светящимся листам не то молитву, не то проповедь, звуки которой ворвались в сознание Николая в тот самый момент, когда он различил чтеца среди каменных выступов.

У толстяка был характерный, чтобы не сказать смешной, голос — хрюкающий шепот, иногда срывающийся в тихий взволнованный визг.

Николай понял, что видит свою цель.

Когтистая лапа одной из Птиц оторвала Николая от телескопа. Тут же на него накинута подобие халата (или каких-то риз) из того же странного мерцающего материала, что и на Птицах. Ткань походила на переливающуюся и меняющую цвет парчу — коснувшись Николая, она пожелтела и покрылась маленькими черными треугольниками. Николай хотел поправить свисающие с плеч широкие ленты, чтобы они легли удобнее — но ткань вдруг пришла в движение.

Это было жутко. Николаю показалось, будто его душит огромный питон. Сопротивляться не имело смысла, и он сразу же сдался. Однако ничего страшного не произошло. Полосы ткани обвили его ноги, обтянули грудь и спину и заставили его принять неудобную позу: присесть на корточки и плотно прижать грудь к коленям, откинув голову далеко назад. Получилось что-то

вроде позы зародыша, наблюдающего за визитом папы. Но эта мысль не развеселила Николая ни капли.

Теперь прямо на линии его взгляда была развилка Креста Безголовых, разрезавшая небо натрое огромной черной «У». Николай почувствовал, как вибрирует его тело, и понял, что между концами креста и спеленавшей его желтой тканью возникло какое-то напряжение. По кресту прошла волна гудящей дрожи — а потом неодолимая сила подхватила Николая и яростным махом швырнула в просвет между рогами. Раздался электрический треск, и он потерял сознание от перегрузки.

Когда шок прошел, небо было уже не вверху, а вокруг — из серого оно стало темно-красным.

Внизу простиралась бесконечная красная пустыня, увиденная Николаем в телескоп. Было ясно — она состарилась так давно, что для ее древности даже нет подходящего слова. Над пустыней, поднимая красные шлейфы, дул ветер, тоже усталый и старый. Из пыльной мглы кое-где торчали выступы, похожие на стволы окаменевших деревьев — или на сточенные ветром колонны исчезнувших храмов.

Николай заметил в пустыне какой-то круг с темной точкой в центре. Круг был очень далеко — но, когда Николай обратил на него внимание, словно бы сработала система наведения, соединенная с его сознанием. Круг начал расти и скоро превратился в развалины круглой колоннады, от которой остались только оплывшие красные пеньки колонн.

Все это непонятным образом было видно в мельчайших деталях — словно в глаз Николаю вживили ту самую подзорную трубу, через которую он смотрел с помоста в небо. Одновременно он опять услышал тихое бормотание и различил того же самого толстяка перед пюпитром. Толстяк обернулся, поглядел вверх — и Николай увидел его лицо.

Это было не лицо, а зеленое свиное рыло.

Сквозь сознание Николая прошла волна посланных Птицами смыслов, и он понял, кто перед ним. Древний Вепрь. Так Птицы называли и изображали в человеческих умах Творца.

Самым поразительным было то, каким образом понимание ворвалось в мозг Николая: система наведения, через которую Птицы управляли его полетом, могла транслировать не только изображения, но и смыслы, обходя речевой интерфейс.

Николай сразу догадался, что перед ним не настоящий Творец, а муляж. Создатель космоса, конечно, не был таким. У него не было рыла, поскольку ему не нужно было разрывать землю, чтобы поедать корневища. И мир, где он пребывал, тоже не имел ничего общего с красной пустыней. Все это было мультфильмом, позволяющим перевести непостижимое в доступные человеку образы — и позволить Николаю захватить цель.

Николай подумал, что близкую природу имели и человеческие иконы — они тоже были переложением абстрактного и бесплотного на язык смыслов, понятных телесному уму... Но люди воображали Творца похожим на себя.

А Птицы увидели его как нечто полностью противоположное себе и даже людям: они придали Создателю облик зеленой усатой свиньи с широким мокрым пяточком вместо носа.

Николай понял, что, с точки зрения Птиц, Древний Вепрь — это не благой и всевидящий дух, вольготно раскинувшийся на облаке всемогущества. Скорее, Творец напоминал им циркового эксцентрика, разъезжающего по канату на одноколесном велосипеде, жонглируя набором тарелок. С того момента, как он въехал на канат и бросил первую тарелку вверх, свободы выбора у него уже не оставалось. Вернее, выбор был лишь один: с грохотом обрушиться в тартарары вместе со всем хозяйством — или сохранять равновесие и дальше.

В космосе не было более несчастного и загруженного существа. Творец не мог никому помочь, даже себе: он был прикован к своему творению, как штрафбатовский смертник к

кипящему от непрерывной стрельбы «максимум».

То, как боевая графика Птиц отражала реальность, открывало многое — не столько про Творца, сколько про них самих. Они ненавидят Творца, понял Николай. Ненавидят, потому что тот был их причиной. И мечтают они об одном: не иметь больше никакой причины и стать самим как боги — чтобы Творение кончилось.

И для этого они планомерно уничтожают одно измерение за другим...

Птичья оптика позволяла Николаю все время видеть Древнего Вепря перед собой.

У Птиц, надо признать, было мрачное чувство юмора. Над рылом Творца блестели черные бусины встревоженных глаз. В его густых пшеничных усах чудилось нечто сталинское.

Рот Творца быстро шевелился. Николай понял, что Творец безостановочно повторяет заклинания, обновляющие мир. Начитывая свою каббалу, он ремонтировал постоянно распадающуюся вселенную. Николай не понимал значения отдельных слов, но каким-то образом воспринимал общий смысл речетатива — и тот был устрашающ.

Хрюкающий шепот Вепря создавал пространство, время и материю. Он создавал законы связи между парящими в пустоте телами — от мельчайших до огромнейших. И еще — микрокосмос внутри физических тел, подобный космосу внешнему. Эти законы, однако, не были вечными: они действовали некоторое время после произнесения Слов Могущества, но постепенно их вибрации затухали, сила сходила на нет, и заклинания надо было повторять.

Глаза Николая встретились с глазами Древнего Вепря. Николай понял, что Вепрь знает про план Птиц, но ничего не может — или не хочет — поделаться. Вепрь был обречен. Но он по-прежнему выполнял свою работу.

Все эти смыслы располагались как бы на периферии пришедшего от Птиц информационного сгустка. Птицы не собирались объяснять тонкости своей метафизики — знание, доводимое ими до Николая, было строго функциональным. У него было единственное назначение: показать уязвимость цели.

Николай понял, что начитываемые Вепрем заклинания возводят вокруг него стену, сквозь которую не может пробиться не то что чья-то атака, но даже луч чужого внимания. Древний Вепрь был невидим и неосязаем для Птиц. Несмотря на свое могущество, они не могли оказаться там, где находился Николай — это пространство было для них запретным. Все, что они умели — это уничтожать мир за миром, проникая туда через их обитателей.

Приблизиться к Творцу способно было лишь одно оружие во Вселенной — он сам, Николай... Он мог, подобно узкому стилету, проходящему сквозь щель в доспехе, дотянуться до сердца мира... И заглянуть Вепрю в глаза перед ударом... Как инструмент атаки он был совершенен.

Выбирая момент для последнего рывка,

Птицы удерживали Николая высоко в красном небе. Он парил над равниной, не отводя глаз от цели, и вбирал в себя все новые и новые открывающиеся ему смыслы. А потом он понял, что с ним говорят не только Птицы — но и сам Древний Вепрь.

Вернее, не говорит. Показывает.

Его зеленый лик, остававшийся величественным даже в надетой на него Птицами издевательской маске, был покрыт множеством шрамов. Это были следы покушений, которыми с начала творения развлекали себя его дети — созданные им сущности. Ни одно из этих покушений не достигло цели. Но каждое причинило Вепрю боль. Николай поглядел в карикатурно намалеванные глаза Творца, и по его груди прошла щемящая волна сострадания.

Вепрь был добрым, бесконечно добрым, и полным любви к каждой парящей в пространстве былинке. Он создал мир, чтобы любить его — чтобы все твари в мире любили друг друга и своего Творца и жили одной большой дружной семьей. Но мир был несовершенным. Не потому,

что Древний Вепрь был зол или глуп, а потому, что иначе мир просто не смог бы существовать. Совершенство нельзя было совместить с бытием. Николай попытался понять почему — и в глазах Вепря промерцал ответ.

Это было так просто.

Мир существовал во времени. Время подразумевало изменения. А изменения подразумевали «лучше» и «хуже». Так появлялось хорошее и плохое, и чем сложнее становился мир, тем труднее было предсказать их чередование. Но никто не хотел этого понимать. И все созданные Вепрем твари — от высших ангелов до простых зверей — мстили ему за это несовершенство, не понимая, что без несовершенства не было бы их самих.

Даже в несовершенном мире можно было бы жить почти счастливо, соблюдая несколько простых правил, которым Вепрь подчинил мироздание. Но следовать правилам живые существа должны были сами. Вепрь не мог сделать этого за них.

В глазах Древнего Вепря застыла бесконечная любовь — и бесконечная печаль. Николаю показалось, что тот похож на старого доброго сапожника, наплодившего много неблагодарных детей, которые ежедневно попрекают его своей бедностью и неустройством — а сапожник только втягивает голову в плечи, стирает попадающие в него плевочки и старается работать шибче, зная, что дети никогда не поймут, какой крест несет их отец, ибо они и есть этот крест...

Крест Безголовых, усмехнулся Николай.

Теперь смысл происходящего сделался ясен окончательно.

Птицы были самым совершенным созданием Вепря. В них он попытался приблизиться к абсолютному идеалу — насколько это возможно. Он попытался сделать свое творение лучше себя самого. И Птицы, ощутив свое совершенство, поняли несовершенство Творца. Они устыдились его и решили убить, чтобы у них больше не осталось никакой причины. Они захотели уничтожить все созданное им, кроме себя.

Древний Вепрь, с ужасом понял Николай, не особо даже возражал — он устал и выпитал в себя слишком много неблагодарной злобы. Его печалило только то, что Птицам и другим тварям тоже придется исчезнуть. Птицы не понимали главного — они тоже были Вепрем. Убив Создателя, они убили бы и себя. Или, может быть, это понимали некоторые из Птиц, самые высшие, но они считали окончательным совершенством именно небытие.

Вепря вели на алтарь. А Николай был жертвенным кинжалом — и Вепрь теперь косил на него мудрым старым глазом, хорошо зная, зачем к нему приближается этот перепуганный визитер.

Паря в небе, Николай постепенно замечал следы прежних ударов по чертогу Творца — зазубрины, оставленные на таинственной субстанции пространства-времени. Он не знал, чем все это было на самом деле: его сознание расшифровывало увиденное в привычных человеку образах.

Он был не первым живым снарядом, посланным Птицами в Вепря. Вокруг того, что представлялось Николаю развалинами круглой колоннады, валялось множество присыпанных красной пылью трупов — раньше он принимал их за выступы почвы.

Это была инфернальная свалка уродцев, гарпий и химер. Перепонки, крылья, когтистые хвосты, многозубые челюсти, иглы, жала... словно бы чья-то злая воля пробовала форму за формой, подбирая отмычку к последним вратам, скрещивая ангелов со свиньями... Самым жутким, конечно, были мелкие детали — крашенные завитки шерсти, сережки в раздваивающихся ушах, драгоценные кольца, продетые сквозь веки и губы... Одежда и украшения на некоторых уродцах предполагали, что Птицы погубили целые цивилизации и культуры, чтобы испытать новое острие для своего копья — а эти живые наконечники, должно быть, размышляли при свете древних звезд, какая сила и с какой целью вызвала их к бытию...

Но самым современным оружием был Николай — и миллионы таких, как он, уже шагнувшие в пучину революций и мировых войн... Николаю вспомнились строки его великого тезки Гумилева:

Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть...

«А в чем, собственно, великая мысль? — подумал он. — Наверно, как и все великие мысли, в себе самой. В том, что я, как носитель великой мысли, не могу умереть. И пока я ее думаю, все о'кей. А если на пять минут перестану? Тогда, выходит, уже могу умереть? Как-то безрадостно... Однако хорошо сказано — носитель. Птицы используют человека, чтобы добросить что-то очень жуткое до этой зеленой свиньи. А что будет с нами потом, им просто неважно...»

Николай понял это так ясно, что сомнений не осталось. Он мог точно навестись на Творца, найдя и увидя его у себя внутри. Длиннейшая эволюция, венцом которой он был, с точки зрения Птиц, имела один-единственный смысл: изготовить зеркало, способное надежно отразить и удержать в себе образ Создателя. Все человеческие религии со времен первых версий единобожия были долгой и кропотливой настройкой этого локатора, способного найти Древнего Вепря в прячущей его пустоте... И теперь это совершенное оружие наконец было брошено в бой.

В незримой стене, окружавшей Вепря, появилась прореха, достаточная для атаки. Окно возможности было очень узким, но оно существовало. И тотчас в пространстве рядом с Николаем возникла одна из Птиц.

Ее было видно только по поясу: она свесилась из пустоты, как из скрытой бархатным занавесом театральной ложи. В нее тотчас ударили со всех сторон лучи ярчайшего света, и ее мерцающие голографические покровы стали сворачиваться от нестерпимого жара. Почернел и задымился клюв, белой яичницей запеклись в небесном огне глаза, и Николаю померещилось, что он чувствует запах горелых перьев. Но

Птица успела коснуться его спины коротким красно-золотым жезлом — и исчезла.

Касание жезла было совсем легким, однако оно с невероятной силой швырнуло Николая к цели сквозь пространство, ставшее вдруг многослойным и плотным. Спеленавшая его ткань пришла в движение, придав телу новую позу — его туловище выпрямилось в одну линию с бедрами, а ноги еще сильнее согнулись в коленях. Николаю показалось, что он превратился в стальной гарпун.

Но долететь до Древнего Вепря было не так-то просто. Николай несся к красной колоннаде с невозможной скоростью, но, хоть Вепрь был отчетливо виден, он не делался ближе — словно Николаю снился один из тех снов, где самый яростный бег не помогает сдвинуться с места.

Николай понял, в чем дело. Птицы опоздали. Окно возможности закрылось: Вепрь уже привел мир в равновесие. Теперь он мог защитить себя. Нахмутив карикатурные пшеничные брови, он начитывал заклинание, которое должно было отбросить Николая прочь.

Но за спиной Николая (он не видел этого, но ясно ощутил) раздался многоголосый хор Птиц, произносящих те же самые заклятья: Птицы изо всех сил направляли живой снаряд в Древнего Вепря — волей самого Вепря. Ибо тот так любил Птиц, что наделил их почти всеми силами, какими обладал сам.

Это была равная схватка.

Нет, почти равная. В ней побеждали Птицы, потому что они не любили Вепря. А Вепрь любил Птиц, и в этом была его слабость.

Две могучие воли, каждая из которых могла, даже не заметив, распылить Николая на атомы,

соприкоснулись и нейтрализовали друг друга — но их крошечной равнодействующей оказалось достаточно, чтобы подтолкнуть живой снаряд к цели.

Николай пытался как-то остановить свое падение. Но его усилия ничего не значили на этих космических весах. Колоннада стала приближаться. А потом он понял, что Птицы промахнулись. Совсем чуть-чуть.

Вепрь шагнул назад и тут же исчез, а его пустые одежды упали на каменное возвышение в центре колоннады. Пюпитр со светящимися каббалистическими листами повалился в пыль.

А Николай врезался в землю.

Боль была страшной. Николай беззвучно закричал — и ушел в этот крик весь, сделавшись просто собственным затихающим эхом, меркнувшим огоньком сознания.

Он догадался, что оружием Птиц была именно эта мука, пережить которую они заставляли не только его самого, но и Создателя. Тот не мог помочь Николаю, не нарушив собственных законов. Он мог лишь исчезнуть, уйти из ополчившегося против него мироздания — что он и сделал.

Николай понял, что произошло между расой Птиц и Вепрем, когда Птицы в первый раз покусились на Творца. Это было похоже на старейший из всех мифов вселенной.

Самого покушения Николай не увидел. Он лишь почувствовал холодное ликование Птиц, уверенных в своем успехе. Но оно длилось недолго. Птицы увидели, что Творец жив, и поняли свой просчет. Они надеялись одолеть его, поскольку он сам оставил им такую возможность — но это был просто соблазн, жестокое испытание, которому он решил подвергнуть их души.

Птицы его не прошли.

Угасающим разумом Николай увидел странный, холодный и полудикий быт Птиц — они жили в неприветливом мире, среди высоких скал, висящих над темным ледяным морем, в древних расщелинах, чуть измененных вкраплениями непостижимых технологий. Их яйца — расписанные тонким узором желтоватые сферы — покоились в огромных сияющих гнездах. Оберегать их было самым важным для Птиц делом: этими семенами они собирались засеять Вселенную, свергнув Вепря.

И Вепрь забрал у них семена.

Он внезапно появился из своего тайного убежища — и возник в ослепительной короне своей славы сразу во множестве мест. Птицы не успели еще ничего понять, а Древний Вепрь уже оставил их гордую расу без будущего. Словно царственный зеленый зверь в золотом обруче на голове, он пронесся одновременно мимо тысяч гнезд, и они опустели навсегда.

Николай ощутил гнев Птиц и постигшую их скорбь. Но он знал, что Птицы не сдались. Они лишь ожесточились — и поклялись вечно мстить, уничтожая все доступные им миры.

Николай чувствовал, что Птицы не отпускают его в смерть. Им нужна была его память.

Одна из Птиц достала его из небытия — и он понял, что новая атака будет другой.

Теперь Птицам нужна была женщина. Они уже нашли ее, и Николай, словно покорная глина, сжатая в когтистой лапе, сделался просто частью ее сознания.

Перед этой женщиной открылась дверь Колесницы. Она шагнула навстречу сумрачной площади, гудящей толпе — и высящемся над ней эшафоту.

Птицы вели себя с Дашей деликатно и даже виновато. Ей казалось, будто они отводят глаза — хотя она понимала, что это ничего не меняет, поскольку они ясно видят все в 360-градусной зоне.

В огромной толпе вокруг помоста почти не слышно было криков ненависти. Доносилось только невнятное гудение, похожее на ропот моря или подземный гул. Даша с обычной женской заносчивостью подумала, что собравшиеся на площади тронуты ее юностью и чистотой. И тут же поняла: Птицы услышали ее мысль.

На эшафоте их было две — в переливающихся халатах, с длинными косицами за спиной (Даша откуда-то знала, что так выглядят Птицы старшего ранга). Птицы замерли, словно их обесточило — но тут же пришли в себя и продолжили свое дело.

Они были заняты настройкой Креста Безголовых. Сверяясь со светящимися таблицами, загоравшимися время от времени до ослепительной яркости, они поворачивали медные кольца с письменами на его опорном столбе. Письмена эти казались Даше похожими на следы птичьих лап.

Из-за креста вдруг вышла третья Птица, которой прежде не было на помосте. Она не могла раньше прятаться за крестом из-за его недостаточной ширины — и тем не менее ее появление выглядело именно так.

Она носила поблескивающий комбинезон из той же странной голографической ткани, что и на остальных Птицах. Ткань казалась серой, но кое-где дрожала и переливалась красным — словно на Птице был невидимый плащ, который окрашивал ее в тех местах, где соприкасался с комбинезоном. На груди Птицы был знак, похожий на звезду с косыми лучами, а голову увенчивал короткий красный плюмаж. Она выглядела величественно, но ее портил страшный ожог: клюв и перья будто обуглились от невыразимо яркого света, а один глаз запекся в мутную белую глазунью.

Одноглазая Птица держала блестящий металлический диск. Она повернула его к Даше — но Даша не успела увидеть свое отражение.

Диск в когтях Птицы свернулся, превратившись в металлический цветок. Птица шагнула к Даше, прикрепила этот цветок к ее груди (он зацепился сам — как ящерица когтистыми лапками), а потом исчезла за Крестом Безголовых так же просто, как появилась, словно его столб был углом дома.

Даша решила, что металлический цветок — какая-то антенна. Манипуляции с вращающимися кольцами, совершаемые Птицами у Креста Безголовых, стали отдаваться в ее животе, в самых интимных и сокровенных глубинах. Каждый поворот кольца менял что-то у нее внутри — и, хоть Даша не знала, что именно происходит, живот понимал подходящие до него инструкции без слов. Даше не было страшно. Возможно, древний животный ум, к которому обращались Птицы, еще не умел бояться.

Птицы завершали настройку. Даша догадывалась, что ничего хорошего эта операция не сулит. Ей захотелось, чтобы все завершилось как можно быстрее. И — странное дело — тут же ей стало казаться, будто время действительно ускорилося.

Ее подвели к подзорной трубе, и она увидела в окуляре красные пески и стоящую среди них круглую колоннаду. В центре круга зияла черная дыра в земле, а рядом лежал человек. Вернее, остатки человека — он был расплюснут страшным ударом. Лицо его с закрытыми глазами, однако, осталось целым и спокойным, словно перед смертью он понял нечто, сделавшее физическое страдание несущественным...

Даша знала это лицо. Она видела его много раз... Но где?

Она вспомнила — в зеркале! Она была этим человеком сама, она чуть не поразила Древнего Вепря, а тот... Исчез? Растворился в воздухе?

Но откуда здесь дыра? Раньше ее не было.

Подзорная труба будто слышала вопрос.

Дыра в земле оказалась в центре поля зрения — и Даша каким-то образом заглянула в провал.

Перед ней был тоннель, выжженный лучом невероятной силы. Тоннель выглядел идеально круглым и бесконечно длинным — внимание погружалось в него все глубже и глубже, но он не менялся. А потом Даша увидела тень, мелькнувшую впереди. Зеленое пятнышко с золотой искрой.

Это мог быть только Древний Вепрь.

Даша вспомнила пережитое во время прошлого полета Николаем — и догадалась, что навигационная система Птиц показывает ей вход в пространство, где скрылся Вепрь после неудачной атаки.

Следующим живым снарядом была она.

Странно, но ее не покинуло веселое юное бесстрашие. Она понимала, что специально выбрана Птицами для этого полета и судьбу уже не изменить. Другой цели в ее жизни не было. Так стоило ли бояться своего предназначения? Это как если бы гвоздь боялся молотка...

Даша отпустила трубу.

На нее надели тускло переливающуюся упряжь, потянувшую ее к земле — и ей пришлось сжаться в позе зародыша, как в прошлый раз. Когда она подняла лицо, перед ней было небо в развилке Креста Безголовых.

Придя в себя после рывка, она увидела вокруг то же красноватое лимбо, по которому недавно кружил Николай.

Она решила, что ей предстоит стать чем-то вроде мортирного ядра — и, вертикально взлетев ввысь, по крутой параболе обрушиться в черный колодец, где спрятался Древний Вепрь.

Однако Птицы, похоже, не собирались превращать ее в живую минометную мину. Они замыслили что-то другое: полет Даши был неспешным и пологим. Она медленно взбиралась в небо, чувствуя себя воздушным змеем.

Было ясно, что Птицы не просто так раскрыли Николаю, а потом и ей грозные тайны Космоса. Живое оружие обретало силу, только осознав свое предназначение — и Даша уже поняла почему. Иначе запускаемый Птицами снаряд потерял бы свое главное свойство — одушевленность. Он превратился бы в брошенную в Творца глину. Ничего не соображающий кусок мяса совершенно точно не долетел бы до трансцендентного чертога, где пребывал Древний Вепрь. А вот живая душа, понимающая свою задачу — могла до него добраться...

Даша заметила, что развалины круглой колоннады уже недалеко — и скоро она пролетит над черной дырой в ее центре. Что-то должно было произойти. Что-то назревало...

Вдруг ее живот пронзила острая боль, и ей показалось, будто она видит когтистые лапы Птиц, поворачивающие кольца со светящимися знаками на Кресте Безголовых. Птицы заново устанавливали с ней связь. А потом произошло неожиданное.

Безошибочным женским инстинктом она ощутила, что в ее животе завязался узелок новой жизни. Это было волнующе — все биологические механизмы ее существа разом пришли в движение — и жутко, потому что Даша понимала: целью этого таинства была не жизнь, а смерть.

В самом ее центре росло нечто новое, округлое и тяжелое. Оно увеличивалось очень быстро, словно его накачивали холодной ртутью через шланг. Самым жутким был именно холод.

Росшее в ней яйцо казалось бомбой, которую отливали Птицы, заполняя ее жидким металлом.

Даша вспомнила, что увидел Николай в последние мгновения жизни — Древнего Вепря в короне силы и славы, прячущегося в неприступном тайном пространстве... На самом деле, поняла она, это измерение было недоступным лишь для Николая, но не для нее: существовал закон воздаяния, настолько универсальный, что ему подчинялся даже сам Древний Вепрь — по собственному выбору и воле.

Да, Вепрь скрылся в измерении, непроницаемом для живого оружия Птиц. Но из-за того, что он похитил их яйца, Птицы могли каким-то непостижимым образом послать ему вслед еще одно яйцо — атакуя как бы вдоль оставленного им кармического следа... Именно поэтому Даша сумела увидеть тайный чертог Вепря, представившийся ей оплавленным черным тоннелем в толще земли. В ней уже был крохотный зародыш яйца, сделавший это возможным...

Даша поняла, что не сможет вместить тайну во всей ее полноте. Но главное было ясно, и дальнейшая последовательность событий сделалась очевидной и простой.

Инородное тело в ней раздувалось все быстрее. Снаряд походил на огромный металлический зародыш, растянувший ее живот, словно она была на девятом месяце. Оружие Птиц обладало немыслимой разрушительной силой — Бомба Большого Взрыва могла переформатировать целую Вселенную, прогнав ее через игольное ушко сингулярности. Смертельное яйцо вызрело в ней неестественно быстро, нарушая все законы биологии и физики — но было ясно, что Птицы не считают себя связанными этими формальностями.

Даша подлетала к цели. Следовало действовать, но она не знала, как выпустить из себя смертельную тяжесть, направив ее вниз. Сведенные полетной судорогой мышцы были на это не способны. Но, когда она уже решила, что так и пролетит мимо цели, не выполнив своего предназначения, стальной цветок на ее груди вдруг ожил. Как застежка молнии, он скользнул вниз и мгновенно распорол ее тело от солнечного сплетения до самого копчика.

— Пуа! — непроизвольно крикнула Даша.

Острая боль в распоротом животе слилась с моральным торжеством в одно пронзительное чувство, которое из всех земных творцов смог адекватно выразить лишь японский писатель Мисима. Даша успела увидеть окровавленный металлический овоид, когда тот выходил из ее тела. Тот действительно выглядел как тусклое яйцо, на котором светились загадочными письменами несколько подвижных медных колец.

На них, как догадалась Даша, были те же знаки, что и на Кресте Безголовых.

Яйцо прощально качнулось и уменьшающимся мячиком пошло вниз. Даша стала пустой и легкой — и полетела прямо в зенит. Она поняла, что так и забудется навсегда в восходящем полете, и это устраивало ее вполне...

Но тут произошло жуткое.

Дашу рывком дернуло вниз — металлическое яйцо, поднырнув снизу, вернулось в ее тело, а стальной цветок мгновенно зашил ее без всякого шва. Ее длинно и криво проволокло по небу назад, и она упала на эшафот, снова увидев перед собой Крест Безголовых.

Даша поняла, в чем дело. Она неправильно разделилась с яйцом, и теперь Птицы отсчитывали время назад. Полет должен был повториться...

Ничего ужаснее этого рывка сквозь время она не испытывала никогда. Боль при реверсивном беге секунд была той же самой болью — но вот пережить свои эмоции в обратной перемотке оказалось гораздо труднее. Существование при этом представлялось чем-то настолько страшным, что хотелось одного — скорее перестать быть. Но самым чудовищным и беспросветным было видение, настигшее, когда ей пришлось передумывать все мысли в обратном порядке (она даже не знала, что такое возможно). При обратном ходе времени она увидела будущее.

Птицы только начинали свою работу на Земле.

В ее судьбе не было ничего особенного — в будущем каждая человеческая жизнь станет таким выстрелом в Творца, поняла она. Придет день, когда Птицы перенесут реальность в свои квантовые вычислители: они будут взламывать последнюю небесную дверь, перебирая варианты шифра, а варианты шифра станут принимать это за свое существование — и будут верить, что вокруг лица, смех, цветы и деревья, закаты и рассветы, галактики и туманности. И хоть по-прежнему будет казаться, будто людей бесконечно много, а их судьбы сильно различаются, на деле все сведется к работе титанической программы, подбирающей живой код к божественному замку. И каждая версия кода станет думать, что она расцветает в лучах глядящего на нее солнца... Правда, солнц там почему-то будет целых три... Три фальшивых солнца. И это главное, самое страшное и окончательное оружие Птиц. Люди будут видеть и любить три солнца — но в реальности над ними останутся лишь закованные в свою голографическую броню Птицы и холодные лучи их глаз...

Таким выглядело одно из будущих — то, к которому направляли мир Птицы (разных версий грядущего оказалось очень много, но как такое возможно, Даша не успела понять — перемотка времени кончилась). Эти постижения промелькнули в ее сознании слишком быстро, а боль была чересчур сильной, и, когда Крест Безголовых вновь швырнул ее в красное небо, она забыла обо всем только что понятом. Она теперь знала одно — нового промаха быть не должно.

Было уже ясно, в чем ее ошибка. Когда в прошлый раз она разделилась на бомбу-яйцо и тело, сознание осталось с телом — а ему следовало переместиться в яйцо.

Черная дыра в земле приближалась, и Дашин живот за несколько секунд набух опять.

Она закусил губу от испуга. Она все еще не понимала, каким образом перенести сознание в яйцо — и Птицы, кажется, не собирались ей помогать. Она не боялась небытия, но новой перемотки времени не должно было случиться. Что угодно, но не это...

Потом она вдруг успокоилась — так же внезапно, как перед этим разволновалась. Ей вспомнился старый фильм про атомную войну. Она совершенно не помнила, где и когда она его видела (возможно, там же, где читала Мисиму, о котором подумала во время первого запуска).

В ее памяти мелькнул лишь один смазанный фрагмент: летчик в ковбойской шляпе спускается из кабины во внутренний отсек бомбардировщика, проходит по узкому коридору и оказывается в маленькой комнатке, где висят две сигарообразные бомбы.

Этот же отрывок мелькнул в ее памяти еще раз, уже отчетливей — и Даша догадалась, что с ней говорят Птицы. Они объясняли задачу, пользуясь сравнениями и уподоблениями, понятными слабому человеческому уму.

Она попыталась последовать их совету самым простым образом — представила себе, что ее тело стало самолетом. Голова была кабиной

пилота, а она сама сделалась маленьким человечком в этой кабине. Потом человечек вылез из мозга, весело прошагал по каким-то горловым трубкам, попетлял немного среди красносиних содрогающихся внутренностей и бодро слез в темную капсулу яйца. Такой был хороший и послушный маленький веселый человечек, жить бы ему и жить...

Даша сразу стала другой — округлой и тяжелой. Она поняла, что больше не видит человеческими глазами. Теперь она воспринимала мир новым способом. Она ощущала приближающуюся дыру в земле и скрытое в ней присутствие.

Еще маневр, и дыра в земле оказалась прямо впереди. Даша испугалась, что пропустит нужный момент — и тут до нее долетело приглушенное «Пуа!».

Она ощутила невесомость и поняла, что летит.

Она не представляла направления своего полета. У нее не осталось никаких ориентиров вообще — она больше не чувствовала своей скорости и не знала, на какой она высоте.

Но Птицы пришли ей на помощь еще раз.

Они повернули несколько иероглифических колец на Кресте Безголовых, и Даше вдруг привиделась большая зеленая свинья с мешком украденных яиц. Когда эта карикатура исчезла, она ощутила впереди и внизу оплавленную шахту — и почувствовала свою собственную траекторию, безошибочно ведущую к черному провалу в земле.

В этот раз ошибки быть не могло.

«Все дело в яйцах,— подумала она.— Птицы могут найти Вепря, потому что с ними поступили плохо и они имеют право на симметричную месть. Древний Вепрь не может ничего с этим поделать — так он создал мир... Но непонятно другое... Почему Птицы могут безнаказанно мучить нас, людей? Если они используют нас для того, чтобы швыряться нами в стены небесной крепости, у нас ведь тоже есть право на месть? Значит, должен быть какой-то космический компенсационный механизм, который позволит и нам убивать их, причиняя такую же боль... Он должен быть! Мы еще отомстим! И за Еумилева, и за всех-всех! Мы увидим их страдание, услышим их предсмертные стоны, и они ничего, ничего не смогут сделать. Они будут бессильны, как бессилён сейчас Древний Вепрь...»

А в следующий миг яйцо, которым стала Даша, влетело в дыру в земле и понеслось по тоннелю. Оно падало все глубже и глубже, к самому центру мироздания, ускоряясь с каждой секундой. Древний Вепрь теперь был везде — он бесплотно окружал несущийся в пустоте поток металла, которым сделалась Даша. А потом она ощутила, как кольца со светящимися знаками, ставшие ее собственными боками, пришли в движение, и знаки на них сложились в последний, окончательный и ослепительный шифр.

Но за миг до того, как все исчезло во вспышке невозможной силы, Даша успела понять, что Древний Вепрь и в этот раз оказался хитрее и сильнее Птиц. Уничтожение скрытой Вселенной, с которой они только что расправились, ничего для него не значило.

Это не он создал бесконечный черный тоннель, чтобы скрыться там от Птиц. Птицы сами нарисовали эти условности в своих боевых прицелах, чтобы хоть как-то увидеть Вепря. Даже после того, как все декорации превратились в поток элементарных частиц, Вепрь по-прежнему был жив.

И Даша уже знала, где он пребывает.

Он ушел в самое недостижимое из измерений — в платоновский космос, пространство чистых идей. Вернее, он не отступал в этот космос, он просто остался в нем той своей частью, которая никогда оттуда не уходила. А все прочие его аспекты, нарисованные безжалостной волей Птиц, были миражом. В него можно кидаться какими угодно бомбами...

Конец ознакомительного отрывка книги

[Скачать полный вариант книги](#)